

18+

АЛЛА ДЫМОВСКАЯ



Мед брат Коро Стоя НОВ

В мире
вещей
ищи
соответствия.
А найдя,
проводи
параллели...

Герои Нового времени

Алла ДЫМОВСКАЯ

**Медбрат Коростоянов
(библия материалиста)**

«Автор»

2016

Дымовская А.

Медбрат Коростоянов (библия материалиста) / А. Дымовская — «Автор», 2016 — (Герои Нового времени)

ISBN 978-5-88727-114-9

Вот он, герой нашего времени. Не морпех, не «брат 1» и не «брат 2», не каратист-опер, не ушлый спецгент. Не вечно в претензии на судьбу, ноющий псевдоинтеллигент, у которого все кругом виноваты, оттого, что вовремя не подстелили под ножки ковровую дорожку. Не самоедствующий женоненавистник, не бунтующий бездельник-всезнайка. Простой человек, честный, звезд с неба не хватающий, но имеющий свою правду. И автор выполнил его желание – поставил на пути героя всякую потустороннюю нечисть, и вложил ему совесть в сердце, а в руки автомат. О нет, не для того, чтобы – у кого оружие, тот и прав! Да и автомат был не главное. А что главное? Прочитайте и узнаете. Может даже, многое про себя, и про своего соседа по огороду, или по лестничной клетке, или вообще про всех таких обычных, на первый взгляд, окружающих вас людей. Почему роман имеет еще один подзаголовок – библия материалиста? Потому что именно это она и есть. Не в смысле нравоучения или философского рассуждения, но в описательном повествовании. Житие медбрата Коростянова, от рождения его и до смерти, это кратко, а в основном – о нескольких неделях, изменивших мир вокруг. Житие человека, а не сына божьего, из крови и плоти, но житие, возможно достойное подражания, и не требующее никакой канонизации, по законам вовсе не церкви и религии, но вполне земным, как ни обозначай их – законам духовным или разумным, это лишь два варианта названия одной и той же реальности. И еще – это спор и отпор одновременно тем, кто желает своекорыстно запереть разум или дух человека в тесной и душной клетушке отжившего мракобесия, нагло обманом «впаривая» современному, порой несколько растерявшемуся в многообразии открывшегося выбора «человеку российскому» свой древний, порченный, залежалый товар. Текст книги опубликован в авторской редакции.

ISBN 978-5-88727-114-9

© ДЫМОВСКАЯ А., 2016

© Автор, 2016

Содержание

От автора	6
К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»	8
Часть первая. Раб лампы	9
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Алла Дымовская

Медбрат Коростоянов

(библия материалиста)

*Скажи, — где начала и где основанья
Несуществованья и существованья?
(Бхагавадгита)*

От автора

Зачастую от писателей, в канун выхода их новой книги из типографии, требуется краткое изложение — о чем, собственно, это произведение (роман, повесть, эпопея)? Чтобы потенциальный читатель и, особенно! продавец смог облегчить себе жизнь, решив заранее дилемму: потратить или не потратить нешуточным трудом достаемые деньги на довольно дорогостоящий по нынешним временам товар. Все верно, и все правильно. Кроме одного. Самой постановки вопроса — о чем? На мой взгляд, нужно спросить по-другому и о другом. Зачем? Зачем писатель вообще втравился в эту затею — написание нового произведения, и почему затея эта не повесилась в самом начале, но прошла через многие испытания, получив завершение в виде напечатанной книги?

Итак, зачем? С какой целью? Для чего? Каков был побудительный мотив написания романа «Медбрат Коростоянов»? И был ли он? Был, был! И далеко не один. Но перечислять все не имеет смысла. О главном...

Однажды, немного лет назад, после довольно рутинного радиоэфира к автору подошел человек — упоминание его имени вышло бы бестактным, потому что он был и есть поныне не слишком удачливый ведущий, но действительно, без подделки неплохой парень, а такое определение мало к кому можно с уверенностью приложить. Так вот. Он с явной печалью и даже некоторой обреченностью спросил: почему? Почему вы, писатели, всегда выбираете в герои либо экстраординарных личностей, каких и в природе не существует, а ныне и вовсе фантастических суперменов, ясновидцев и магов-пришельцев, либо совсем уж отъявленных злодеев, чем гаже, тем смачнее подробности их деяний. Несправедливо. К примеру, обычные люди — тут он указал на себя, — неужели настолько серы и неинтересны, а ведь тоже их жизнь порой немалый подвиг. Обычная, повседневная жизнь, полная противостояний обычному повседневному злу. Он сам всегда старался усовершенствовать себя, хоть немного, до уровня примерного человека и гражданина, не гения, конечно, но и ни в коем случае ни капли от подонка, — в советское время был пионером, потом комсомольцем, учился «на отлично», не хулиганил, любил Родину и партию, верил свято и старательно делал, что мог. Потом поступил в вуз, окончил его тоже с отличием, вуз был инженерным и в девяностые годы обладатель красного диплома по специальности «металлорежущие станки и приборы» стал совершенно никому не нужен, а торговать он не умел. Вот результат — пришлось сменить профессию. И здесь он старается как может, — не очень удачно, зато честно, зато не заедает ничью жизнь, зато не обижает слабых, может оттого он и не самый лучший ведущий, что не хочет задевать и оскорблять людей. Вдруг бы и он сгодился в герои, пусть посредственные, пусть! Но если бы ему тоже когда-нибудь повстречалась на пути настоящая чертовщина или страшные для человека испытания, он бы, наверное, не дрогнул и показал бы себя.

И тогда автор решил — а почему бы и нет? Вот он, герой нашего времени. Не морпех, не «брат 1» и не «брат 2», не каратист-опер, не ушлый спецгент. Не вечно в претензии на

судьбу, ноющий псевдоинтеллигент, у которого все кругом виноваты, оттого, что вовремя не подстелили под ножки ковровую дорожку. Не самоедствующий женоненавистник, не бунтующий бездельник-всезнайка. Простой человек, честный, звезд с неба не хватающий, но имеющий свою правду. И автор выполнил его желание – поставил на пути героя всякую потустороннюю нечисть, и вложил ему совесть в сердце, а в руки автомат. О нет, не для того, чтобы – у кого оружие, тот и прав! Да и автомат был не главное. А что главное? Прочитайте и узнаете. Может даже, многое про себя, и про своего соседа по огороду, или по лестничной клетке, или вообще про всех таких обычных, на первый взгляд, окружающих вас людей.

Почему роман имеет еще один подзаголовок – библия атеиста? Потому что именно это она и есть. Не в смысле нравоучения или философского рассуждения, но в описательном повествовании. Житие медбрата Коростянова, от рождения его и до смерти, это кратко, а в основном – о нескольких неделях, изменивших мир вокруг. Житие человека, а не сына божьего, из крови и плоти, но житие, возможно достойное подражания, и не требующее никакой канонизации, по законам вовсе не церкви и религии, но вполне земным, как ни обозначай их – законам духовным или разумным, это лишь два варианта названия одной и той же реальности. И еще – это спор и отпор одновременно тем, кто желает своекорыстно запереть разум или дух человека в тесной и душной клетушке отжившего мракобесия, нагло обманом «впаривая» современному, порой несколько растерявшемуся в многообразии открывшегося выбора «человеку российскому» свой древний, порченный, залежалый товар.

И еще одно. Последнее. Зачем все же был написан роман? А ни зачем. И не просто так. Здесь можно сказать лишь одно и слова эти не автора. Они принадлежат астронавту Нилу Армстронгу, обыкновенному человеку в необыкновенных обстоятельствах пережившему и сотворившему чудо, их стоило бы писать единственно радужным фейерверком в звездном небе, слова эти: «Почему мы полетели? Луна была там, а мы здесь. Только поэтому». Вот и все. Хотите, верьте, хотите, нет.

К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»

Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий.

Вилим Мошкин – мальчик, юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями. С которыми он не в состоянии совладать. Ибо основа их любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако, именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность, чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека богом, они не делают его даже человеком в буквальном смысле слова.

Медбрат Коростоянов проходит свою проверку на прочность. Убежденность в своем выборе и незамутненный разум, которым он умеет пользоваться во благо, в отличие от многих прочих людей, способность мыслить в философском измерении все равно не умаляют в нем бойца. Того самого солдата, который должен защищать слабых и сирых. Ради этого он берет в руки автомат, ради этого исполняет долг, который сам себе назначил, потому что бежать дальше уже некуда, и бегство никого не спасет, а значит, надо драться. Но когда твоя война заканчивается, автомат лучше положить. И делать дело. Какое? Такое, чтобы любое оружие брать в руки как можно реже.

Леонтий Гусичин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилom прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малахольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени.

Все три романа фантастические, но! Сказка ложь, да в ней намек. Намек на то, а ты бы как поступил, случись тебе? Знаешь ли ты себя? И есть ли у тебя ответ?

Часть первая. Раб лампы

*... рыскали звери, что жрали живое,
И гибель была в их рычанье и вое.
(Махабхарата)*

Вряд ли бы на свете нашлась более заштатная дыра, чем наш Бурьяновск. Разве что смежный с ним райцентр Ипатьево-Холопьевск, или в просторечье «Клопы». Но не суть важно. А важно как раз то, что дыра-то она, может, и дыра, смотря, на чей трезвый взгляд. И на нетрезвый тоже. Для меня, как для кого. То есть, вполне ничего, если при всем богатстве выбора, как говорится, куда ни кинь, однозначно песец – это маленький пушистый зверек. А я был кто? Я тогда был медбрат. Медбрат Коростоянов. Звучит, как ругательство. Однако погодите, то ли еще ждет впереди! Хотя «медсестра Коростоянов» звучит куда похабней. А если перевести на уличный русский язык, то я попросту был санитар. Где, вы думаете? Само собой, в здешнем дурдоме!

Впрочем, дурдом дурдому рознь. Бурьяновский вообще был ни на что не похож. Но об этом чуть позже. Но обязательно. Даже обязательно-непрерывно. Но потом. Иначе не выйдет повести. Ни той, которая печальней всех на свете, ни моего собственного бредового рассказа о сумбурной череде событий, именно приключившейся в Бурьяновском бедламе под названием «Психоневрологическая лечебница-стационар № 3,14... в периоде». Шутка, конечно. Номер у нас был рядовой, хотя и секретный, какой – не скажу. Не в нем дело. Все же имейте в виду, в каждой шутке есть только доля шутки. Как в каждом нормальном подонке строго определенная доля заблудшего благородства. Остальное – то ли вымысел, то ли реальность. То ли и вправду любой сотрудник «психушки» равномерно и прямолинейно согласно законам физики движется в сторону того, чтобы сбрендить самому. И не просто движется, а с неукоснительной неизбежностью.

Однако «начнем с Начала», как говаривал Фома Аквинский, затеяв многотомный труд о мытарствах Господа Бога по поводу создания нашего корявого мирка с неудачной первой попытки.

Достопамятное, растреклятое, летнее утро, когда я встретил Лидку, вроде наступило обычным образом. Вышел на крыльцо. Вовсе не в белом служебном халате, а в натуральном своем виде – в тренировочных обвислых штанах на голое тело, а более ничего на мне не было. Потому крыльцо это считалось как бы мое лично-персональное. Конура-пристройка, с отдельным входом и выходом соответственно, в домике вдовой сироты-торговки Ульянихи. Ну и крылечко на загляденье – четыре гнилые доски и одна провалившаяся ступенька. (Не удивительно, дерево в здешних местах гниет быстро: тепло и сыро, но все равно строят с тупым упорством, мол, солидней, чем саманные, обмазанные глиной, с трухой внутри, лес еще есть, а кирпич нынче дорог, раньше вообще не достать.) Перед крылечком – огород. Обгоревшие на солнцепеке стебли укропа, меж ними наглые луковые стрелы, и уж за ними одинокая помидорная шпалера без единой томатной завязи. Шиш да кумыш, если коротко. Но ходить лучше осторожно, чтобы не получить от Ульянихи нагоняй.

В общем, вышел я на крыльцо. Нет, вовсе не затем, о чем вы подумали. Ничего у меня не чесалось, ни в причинном месте, ни в каком-нибудь ином. Вышел, как проснулся. Нечесанный и неумытый. У нас тут не Голливуд, чтобы ни-ни на люди с нечищеными зубами и не облагороженным дыханием. Последнее поправимо. При помощи жевания лука обыкновенного, прямо с грядки свежачка, облагородиться можно так, что мама не горюй! Хотя, что я говорю? Видела бы меня тогда мама!

Стою, зеваю. Точнее: стоял я, зевал, – дело было в прошлом времени. Для развлечения считал дреколья в скособоченном заборе, заодно удостоверился – за минувшие сутки их число ничуть не изменилось. Между сквозными зазорами сновали туда и обратно две пегие курицы, не Ульянихи – вдовая сирота живность не держала, но с соседской фазенды. Мне, что? Пусть себе ходят. Огород все одно не мой.

Только собрался закурить – гляжу, ба! Незнакомое вовсе лицо. Иначе, фигура. Такая, что дай бог каждому. Или каждой, если в женском роде. Не то, чтобы худосочная подиумная верста, но ладных соразмерных очертаний, от щиколоток до попы и от попы до затылка как раз золотое сечение. По правде, фигура несколько миниатюрная, мне где-то в районе могучего плеча, но я высоких не люблю. В постели впечатление такое, будто спишь с удавом, а к пресмыкающимся я с детства испытывал некоторое стойкое отвращение.

Бурьяновскими кавалерами при виде залетной, таинственной незнакомки практиковались две проверенные опытом формы поведения. Первая в данных обстоятельствах предписывала громкий до истошности крик: «Эй, ты, в зеленом (желтом, лиловом, красном) платье (сарафане, кофте, юбке), как там тебя? Ты чья будешь? (в смысле к кому или зачем приехала). Иди сюды!»». Дальше смотря по реакции – от короткого напутствия матерком, до миролюбивого «ну, ладно в другой раз, так в другой раз!». Вторая форма, предполагавшая большую степень заинтересованности, содержала в себе короткую пробежку до забора, суетливую жестикуляцию – представьте, что вас одолел осиный улей, и следующее текстовое сообщение: «Эй, да-да, ты! Новая училка (врачиха, кассирша, завклубом, смотря по открытой вакантной должности), что ли? Ежели, подсобить чего, так я тут! Спроси Леху (Серегу, Петюлю и т. д.)». Далее либо грустное короткое восклицание «Эх-ма!», либо чуть более долгое и радостное «сама дура!». Последнее расценивалось как предложение долгосрочного уходаживания.

Из вышеозначенных форм мне заведомо не подходили ни та, ни другая. Почему? Ну, хотя бы потому, что к полноправным бурьяновцам я не принадлежал, и как пришлому персонажу, вдобавок хлебнувшему столичной жизни, мне необходимо было немедленно изобрести нечто третье. Обычные клише здесь не годились. Сами посудите – в замызганных растянутых «трениках», при голом пузе, не станешь разыгрывать куртуазную сцену знакомства на скамейке Гоголевского бульвара. Да еще посреди хамского огорода с курами!

Придумать, кстати, я ничего не успел. По прозаической причине. К миниатюрной фигурке в коротком разбеге присоединилась внезапно иная, совсем уже микроскопическая, вершка в полтора, издававшая многое проясняющие, односложные вопли:

– Мам! Мам! Мам! – будто сеанс закодированной радиосвязи.

Связь и в самом деле обнаружилась. «Золотое сечение» обернулось, раздраженно-ласково произнесло – да-да, именно раздраженно-ласково, так одни только матери, души не чающие в своих детках и могут:

– Глафира, я как тебе велела – иди впереди, чтоб мама тебя видела! – И через короткую паузу и долгий проверочный взгляд: – Чума, а не ребенок! Уже успела извазюкаться! Глафира, излуплю!

Дитя превесело захихикало. Я так и понял: заключительная угроза вовсе не была сообщением о намерениях, а скорее риторической заклинательной формулой. Которую следовало перевести примерно следующим образом: «Глафира! Мама тобой недовольна, и ты должна об этом знать! Хотя тебе и наплевать с высокой колокольни!». Дитя и наплевало, тут же полезло через неглубокую и сильно замусоренную канаву за подорожником вульгарным.

А я полез за словом в карман. Потому как, женщина с ребенком дело святое. Заодно стало понятно, отчего за незнакомкой до сих пор не прицепился хвостиком кто-нибудь из туземных ловеласов.хлопотно, да и вообще, оно надо? Простая логика – если есть мать и детеныш, где-то неподалеку может нарисоваться семейственный отец. Кто его знает, вдруг косая сажень в плечах или восточный единоборец? Было бы из-за чего связываться! Своих девок навалом!

Но это логика для местных коренных. Не то, чтобы я не одобрял ее принципиально, но и согласиться не мог. Особенно, когда «золотое сечение» обернулось. Не ко мне, естественно. Однако рассмотреть успел. Думаете, сразу схватился за диафрагму и заохал, точно оперный запевала: «О-о! Неземная красота!». И тому подобное. Ничуть не бывало. Совсем даже не красота и тем более до небес далеко. А гораздо лучше. Интересное лицо. Так-то. Случаются подобные лица. Редко. И это хорошо. Иначе нам, ценителям, вышло бы вовсе пропасть. В кино ходили? Ходили. Оно даже в Тибете есть. Вечно нестареющую Мерил Стрип видали? Видали. Даже если по ошибке забрели не на свой сеанс. Теперь убавьте рост и число лет, приплюсуйте вздорное выражение тонкому носишке, и дело сделано. От ветерка прямые колючие волосы все время лезли ей в рот, потому у нее получалось не «Глафира», а как-то так – «Глап-тьфу-фира!». И еще она была чересчур сильно накрашена. Не в смысле безвкусно, а только в поселке городского типа, каким официально является наш Бурьяновск, дамы таково не ходят, особенно с утра пораньше. Уже от себя я присочинил ей французский парфюмерный аромат и жесткое кружевное белье, которое натирает во всех укромных складках. Хотя, какое на ней даже было верхнее платье, и было ли это именно платье, по сей день не скажу и под угрозой расстрела. Однако ноги были точно голые. Бритые голые, загорелые ноги. Больше мое либидо ничем не успело себя потешить, и настоящего позора я избежал. Потому – незнакомка, наконец, меня заметила. И мне стало стыдно.

Мы оба пошли потихоньку к забору. Я со своей огородной стороны, она со своей, уличной. Дочурка ее по уши прочно засела в канаве, от души наслаждаясь тамошней грязюкой, так что нашему прямому общению вроде бы ничего не мешало. Поздоровались. Она сказала, ее зовут Лидия Владимировна, потом поправилась – просто Лида, и то, для отчества она была излишне молода. У меня хватило ума представиться Феликсом, а не Фелей, как меня звали все кому ни лень, даже наш главный, вообще-то интеллигентный мужик. Но его можно понять, имя «Феликс» не вполне прилично для рядового медбрата из психушки.

А дальше прозвучало вдруг с места в карьер:

– Вы не присмотрите за моей Глафирой? Всего на пару часиков?

Вот-те на! Первому встречному доверить любимое чадо. Я сказал ей об этом напрямик. Но Лидка не обиделась. Как выяснилось впоследствии, обижалась она вообще редко и на странные вещи. Мне же было задушевно поведано, что у меня, мол, приличный вид (!), и ей очень-очень нужно. Оба заявления показались мне весьма спорными. На самом деле я бы охотно выполнил ее пустяшную просьбу. Именно, что пустяшную. Надо думать, на своем трудовом посту приходилось мне порой присматривать за такими типами, куда там слегка озорному дитяти! И Лидке я намерен был понравиться. Но я и вправду не мог. И об этом тоже сказал напрямик:

– Да я бы с радостью! Проблема в том, что мой рабочий день начнется приблизительно через полчаса. Считая дорогу. Жаль, конечно, – последнее я произнес насколько мог убедительно искренне.

– А вы не могли бы взять Глафиру с собой? Я обязательно ее заберу к обеду... У нас режим, – последнее она досказала более для моего спокойствия, чем из желания похвалиться строгостью воспитания. Дескать, не опасайтесь, дальше разумного предела вас обременять не станем.

– Здесь могут быть сложности, – я на ходу подыскивал корректно приемлемый ответ: знала бы она, какова моя работа! Но ничего, кроме святой правды мне на ум не пришло, да и чего врать? У нас, в Бурьяновске, все на виду и все про всех всё знают. – Я, понимаете ли, по должности, медбрат в психиатрическом стационаре. Хотя буйных к нам обычно не направляют. Все-таки, для ребенка неподходящая площадка для игр.

Она не то, чтобы разочаровалась, но посмотрела на меня... Как же она тогда посмотрела? Загадочно? Нет. Пренебрежительно-изумленно? Нет-нет, ни в коем случае. Это был совсем

непонятный мне взгляд. На тот момент, непонятный. Будто бы вы шли по дороге и благодаря чрезвычайному везению наткнулись на затерянный кем-то в пыли потертый кошелек. Открыли его и обнаружили, что бумажных денег в нем нет, только на слух бренчат медяки в кармашке для мелочи, да и сам кошелек не представляет ценности. Все же, на всякий пожарный, заглянули в монетное отделение. А там не медяки, но золотые царские червонцы. И вы стоите и не верите сами себе, будто червонцы именно золотые, а не дешевая подделка хохмы ради. Как проверить вы не знаете, разве на зуб, но что это даст? Потому решение вы откладываете на потом, когда можно будет установить истину, а кошелек, разумеется, забираете с собой, хотя до конца и не определяете, как отнестись к находке. Как к удаче или как к очередной разочаровавшей вас надежде.

Она словно бы сомневалась во мне. Будто я обманщик-оборотень, претендовавший на чужое звание. Эка невидаль, медбрат! Неподходящее занятие для самозванца. Вот если бы я представился ей директором здешней фабричной артели, исправно выпекавшей фаянсовые подделки под русскую горшечную старину, тогда еще может быть. Но и то, бабушка бы надвое сказала. Фабричка наша была из захудалых, едва-едва на плаву, так что и директором ее являлся не плутоватый олигарх-здоровячок, а заморенный налогами и долгами диабетик предпенсионного возраста Илья Спиридонович Бубенец. Я его хорошо знал, еще бы! Частенько захаживал на уколы – страшно боялся одного вида иглы, за столько лет не привык, а у меня, мол, рука легкая. Рука как рука, но, если страждущему в утешение, я не против. К тому же, какая-никакая подработка. Хотя с Ильи Спиридоновича деньгами брать было мне всегда неловко. Но с другой стороны, не горшками же! А так, никто никому ничего не должен.

Впрочем, Лидкин интерес я оправдал за счет экзотики. Для заезжего человека могло быть и непривычным запросто встретить на огороде служителя психбольницы. Это у нас, в Бурьяновске, давно обыкновенное дело, а для кого иного любопытное обстоятельство. Порой и оскорбительное. Будто бы санитары в свободное от службы время не люди! Но должны ходить по улице со смиренной рубашкой наперевес. Однако Лидка обижать вашего покорного слугу не имела в виду. Напротив, пожалела по поводу меня и Глафиры, еще раз посетовала на неудобство:

– Понимаете, срочно надо. Так некстати, – она все никак не отходила от забора, будто на дрекольях узоры были писаны. Не из-за меня же! – Я здесь совсем никого пока не знаю. А то бы я нашла няню на полдня. Ну, ладно. Нет, так нет. Вы извините.

Она постояла еще некоторое время, будто ждала – уж не приглашу ли я ее на свидание? А потом ушла. А я остался стоять. Как пень. Слишком много было информации за один раз, и слишком много неожиданной. Меня поразило абсолютно все в ее прощальных словах. Что значит «никого здесь не знаю»? У нас не курорт и не музейное Михайловское, к нам празднующиеся не забредают, потому как, незачем. Не горшечное же производство осматривать для обмена опытом! Да и горшки все более цветочные, само собой не «Кусково» и не «Гжель». И какая может быть няня? Это барышня чего-то напутала. Вдруг ей в Баден-Баден, а попала в Бурьяновск? В нашем поселке с подобной услугой все обстояло крайне просто: зайди к многодетной соседке, да и попроси по-хорошему. Разве выставь корзинку яблок или тарелку пирожков. И потом. Куда это ей срочно надо? Вот что особенно не давало мне покоя после ее ухода. Некуда в Бурьяновске торопиться. Здесь даже в табельные дни не бегали по случаю выдачи зарплаты. И зачем бегать? Если уж привезли, так все равно выдадут, куда денутся? А если шиш на постном масле, что случалось значительно чаще, то бегай не бегай, кошелек толще не станет.

Лидке надо было срочно. На почту, что ли? Примыслил я единственное место, куда возможно отправиться в спешке. Но тут же отверг и это предположение. На почту-то как раз с ребенком милое дело. Там рядом две общественные качели и будка с мороженым, а в будке мороженщица тетя Поля. Ее и просить не надо, сама приглядит – вечно вокруг полно орущей детворы. Однако Лидка еще могла всех здешних особенностей не знать. Потому я решил, она

пошла на почту. Или, в крайнем случае, в фабричную контору. Воображение мое дало себе волю. Например, Бубенец выписал из большого города дипломированного дизайнера для своих горшков, в предвидении светлого будущего артели и всего Бурьяновска в целом. Вот Лидка как раз тот самый дизайнер и есть.

Кстати, духи у нее в действительности оказались французские. Я их случайно узнал. «Маже нуар», полтинник флакон, если на советские старые деньги. У моей матери были однажды такие. Очень давно, но я запомнил их разнузданно победный запах. Откуда только взялись?! Я-то думал, их давно не выпускают, даже и в Париже.

Няня на полдня, это надо же!

Впрочем, мечтать о Лидке мне было некогда, хотя и хотелось. И вообще. Мне мерещилось нечто знаковое в случайной головокружительной встрече, но умысла судьбы, доброго или злого, я этим утром разгадать все равно бы не смог. Тем более, я решительно опаздывал не просто на работу, но на внеочередное дежурство – заступал на полтора суток, катастрофическая нехватка персонала есть зауряднейшее дело, что вы хотите! Смена предстояла не то, чтобы тяжелая, скорее морально обременительная, потому что с напарником на сей раз мне не свезло. Если расписание не претерпело изменений, – а с чего ему меняться, у нас не футбольная команда, запасных вариантов не бывает, – то на мою долю выпадало долгое и нервно-нудное общение с Ивашкой Ешечкиным. Которого я про себя называл шутейно Иоганн Лабудур. Иначе дурак, несущий обычно непроходимую лабуду, при этом ярый почитатель всего того сора, намытого к нам из-за границы родины любимой, за которой, кстати сказать Ивашка ни разу не бывал. И вряд ли когда будет. Нервно-нудным общение с ним выходило по двум причинам. Нервное, потому что я насилу удерживал себя в руках, чтобы не позволить высказаться вслух. Нудное оттого, что Лабудур страдал недержанием речи, нуждаясь более в слушателе, чем в собеседнике. А слушать его было тяжело. Ивашка мог часами с прокурорской обстоятельностью пересказывать телевизионную рекламу, под наркотическим впечатлением коей он находился двадцать четыре часа в сутки, даже и во сне в виде навязчивого бреда – я сам однажды сделался тому свидетелем. Ладно бы еще это была реклама горячительно-успокоительных напитков или травящих душу сигарет. Так нет же! Очень мне нужно знать, что универсальный порошок «Ариэль», наверняка, превосходит мыло хозяйственное обыкновенное, или, по крайней мере, ни в чем оному не уступает. При всем притом, что Ивашка видал этот «Ариэль» исключительно на картинке, а я – исключительно в гробу. Или что средство для постирочных и помоечных домашних машин «Калгон» куда лучше его отечественных аналогов. Как выглядят в действительности сами эти машины, Лабудур имел такое же представление, каким обладал папуас о крупорушке во времена Миклухо-Маклая. В его собственном домишке – крытой тесом избенке с прогнившими верхними венцами, – оба процесса осуществлялись всегда и только в корыте, благо еще оцинкованном, не деревянном. Куда проще вышло бы мне дежурить в одиночестве, но того не полагалось согласно внутренней инструкции, архаичному пережитку аж бериевских времен.

Однако пусть будет Лабудур, неожиданно решил я для себя. Согласно теории вероятности, одно удручающее событие непременно должно компенсировать собой событие приятное. Под последним я разумел свою встречу с Лидкой. Беспокоило меня лишь весьма возможное предположение, что по возвращению с традиционно внеочередного дежурства никакой Лидки в нашем Бурьяновске я уже не застаю. Да и что ей, надушенной «Маже нуаром» и с голыми бритыми ногами, здесь делать? То есть, делать, может, и есть чего, раз уж приехала, а вот задерживаться – это из области обманчивых мечтаний.

Знал бы тогда наперед! Ни секунды не лукавя, могу сказать, как на духу. Самолично взял бы ее под руку, а микроскопическую Глафиру – на руки, и отконвоировал бы обеих к железнодорожному полустанку. Запихал бы насильно в ближайший проходящий, или на худой конец, в электричку... и в шею, в шею, подальше отсюда! Пусть невежливо, зато вдруг бы

некоторые события в нашем городе повернулись в иную сторону. Не в отношении меня или нашего стационара в целом, это было бы невозможно, как я теперь понимаю, но хотя бы в отношении Лидки и ее дочери Глафиры. Говорят, все что бог ни делает, все к лучшему. Может оно и так, если бы бог действительно существовал. Однако утверждать, что наша с ней ситуация разрешилась в конечном итоге ко всеобщему благу, значит, назвать белое черным, твердое жидким, ворону лисицей, а упыря гордым соколом.

Но тем прошедшим утром я размеренно шествовал в гору, навевая ореол вокруг своей головы ароматными дымами переломленной в зубах «беломорины», на ходу размышляя только об одном. Встречу или не встречу ее когда-нибудь. Хотелось первого, но разум усиленно намекал мне на второе, и я дышал протяжнее, чем требовали мои пешеходные усилия. А говоря попросту, вздыхал филином.

Шел в гору – это было сильно сказано. Скорее на горушку, или на пологий холм. Где на открытом всем ветрам юру, – зато превосходный обзор в случае, если психи самовольно разбегутся, – воздвигся во всю свою разлапистую ширь наш лечебный стационар. Выстроенный, лопуху на загляденье: и монументальная колоннада-портал, рассчитанная на циклопов, не на людей, и фронтон с дояркой и пастухом, и ядреные решетки в бойницах-окнах, и даже раскидистая лестница, обтекаемая с двух сторон помпезной балюстрадой. Все вместе в морщинах побелки веселенького цвета синюшного разведенного молока. Не подумайте, что то были останки богатого некогда дворянского гнезда. Никто для добровольного жития, уж поверьте, не стал бы строить подобное страшилище. Тем паче утонченное сословие со вкусом. Это был новодел. Точнее, старый новый дел. Кошмарище конца сороковых годов, как будто после военной разрухи не было нужды в возведении чего-либо более подходящего и насущного. Но строили по приказу самого. Не Самого, но самого. Именно с маленькой буквы, потому как до большой Лаврентий Павлович так и не дорос, до этого времени вбили его в землю без суда и следствия. А здание осталось. Обветшало, обтерлось, обтерхалось и обветрилось. Как и всё вокруг него, кроме высоченной чугунной ограды, которую единственно мы, средний медицинский персонал, коллективным бригадным подрядом за премиальные красили в черный цвет каждую весну. Полагалось бы по рангу заведения иметь глухой каменный забор с колючкой и охраной, но не было того. Никогда не было. Будто возводили имперский бордель с актрисками, а не душевно-вразумительное учреждение. Почему? Отчего? Ходила полулегенда, что испытывали сверхсовременные передовые методы, для тогдашнего давнего времени, естественно. Самодрессирующиеся овчарки и космический индукционный ток в ограде. Это сколько же надо вольт и ампер, чтобы пробить полуторадоймовый чугун? Или психи служили прикрытием для подземной ядерной установки. Это тоже некогда витало в распаленных атомными успехами несведущих умах. Дескать, смотрите сами, господа шпионы, насквозь видно, вот по травке гуляют больные люди, вот их заботливые врачи, а более нет ничего. Все это хрень, понятное дело. Но ограда была. У приличных «дурак» забор, а у нас решетчатая ограда, такая, что и Летний сад бы позавидовал. Облезлая слегка.

А ведь изначально здравоохранительный объект № 3,14... затевали якобы как тюремный стационар, хотя и не для вполне психических больных. Скорее, для тех, с кем до конца не знали, что делать. Или кто зачем-то нужен был стойкому мингрельскому дзержинцу, не тотчас, но позднее. Вполне адекватные носители способностей, не нашедших применения, ясновидящие пророки, то ли блаженные, то ли симулирующие виртуозно, слепые, ходящие без глаз, глухие, слышащие без звуков, их и поселили здесь временно под умеренной штатской охраной.

Впоследствии, в эпоху расцвета института Сербского, сюда, как в негласный побочный филиал – числились мы совсем за другим ведомством, – стали направлять украдкой экстраординарных сумасшедших. Это так они значились в секретных учетных карточках. На деле же были непонятные и полунормальные люди, с которыми опять же официальные власти не знали, как поступить. Залечивать их было бы пустой тратой галоперидола, так как угрозы они

не представляли, а диагноз являл собой надуманную бумажную муть. Заявлений, опасных для верхов, никто из них не произносил, и не имел в планах на будущее, равно как эмиграцию. Но от одного присутствия их в счастливом социалистическом обществе становилось несколько неуютно. Решение, как всегда в таких случаях, оказалось предельно просто – выслать и изолировать, а после благополучно позабыть. Для этих целей и служил наш не вполне обычный стационар за №... ну вы дальше знаете. Психи наши жили себе и жили, – никого не трогали, их никто не трогал, – а в последние годы даже привольно, пускай и немного голодно. Зато с тех пор, как наступили архаровские псевдодемократические времена, никого более на излечение не присылали. Будто бы мы есть, но будто бы нас нет. Минздрав порыпался, порыпался, получил по шапке, и отстал. Известное дело, подведомственная структура – лоб расшибешь, а прибыль сомнительна. Это притом, что обычные психушки были переполнены и перепиханы, и вообще занюханы до последней возможности. Так что у нас в сравнении житуха складывалась неплохо. Оно и ладно. Если бы не мое личное безумное подозрение – в неплохой житухе каким-то неизъяснимым словами образом были виновны отдельные наши подопечные постояльцы. Точнее один из них. Самый непредсказуемый и самый странный. Мотя.

Отчасти я считал его своим другом, хотя мы не были равны, и мне никак не полагалось заводить дружбу с пациентом из подчиненных мне палат. О нем и будет первый в этой истории именной рассказ.

ПОЛЯРНЫЙ ЗАЯЦ

Его звали вовсе не Мотя. В сопроводительном предписании, равно и в истории болезни, значилось какое-то рядовое имя. Слишком рядовое, чтобы быть настоящим. То ли Петр Сидорович Иванов, то ли Сидор Иванович Петров. С больными, страдающими амнезией, подобное происходит в порядке вещей. Вписывают, чего попроще, на выдумку нет времени и охоты. Вспомнит, хорошо. Не вспомнит, так сойдет. А прозвище его по непроверенным слухам появилось оттого, что наш неопознанный Иванов-Петров при поступлении повторял одну-единственную присказку на все возможные тональные лады: тетя-Мотя-тетя-Мотя. К нему и прилепилось.

Дальнее прошлое Моти было покрыто непроницаемым туманом. Откуда он взялся, никто из нынешних работников стационара уже не помнил. Даже наш главврач Марксэн Аверьянович Олсуфьев (сокращено Мао, или просто главный), хотя привезли Мотю аккурат после вступления доктора Олсуфьева в должность. В личном его деле царил полный сумбур и некорректность формулировок. Арестован при добровольной явке в шестое отделение милиции города Москвы – между прочим, курировавшее главное здание общежитий университета, я-то знаю, – что Мотя там делал, по сей день секрет Урфина Джуса и деревянных солдат. Перенаправлен для освидетельствования в первую градскую. (???) Спрашивается, для освидетельствования чего? Затем пробел, незаполненный даже намеками. Следующая дата спустя аж восемнадцать месяцев. Сопроводительное письмо, подписанное отнюдь не врачебной рукой, но таинственным уполномоченным капитаном Акиндиновым, без указания учреждения и места отправления, от ноября семьдесят девятого года. Где Мотя охарактеризован как возможный объект нежелательной антипропаганды. Что сие означает?

Оно понятно, в семьдесят девятом все с ума посходили на незримой государственной службе. Афганистан, заявление Сахарова, руки прочь от феодального Кабула, уже не за горами маячила полька-бабочка в исполнении Ярузельского. Но не до такой же степени! Возможный объект нежелательной антипропаганды. Конечно, бумага все стерпит. Если антипропаганда нежелательная, то можно предположить, на тот момент существовала антипропаганда иная, в смысле желательная? И как это понимать, возможный объект? Само собой, у нас не в дико-

винку сослать человека за одно только намерение. Все-таки, согласитесь, возможный объект – это и для сусловских Торквемад чересчур. И почему сразу к нам? Без выяснения личности, без медицинского заключения, ведь амнезия не диагноз для ведомственного стационара. Реабилитация при неврологическом центре куда ни шло, но чтобы в глухое бессрочное забвение! Что же он натворил-то? Некоторое время мне этот вопрос не давал покоя.

А ведь глядя на Мотю, по внешнему виду его ни за что нельзя было подумать, будто он способен пусть на единственный, но самостоятельный поступок, тем более, опрометчивый. Наверное, я не первый инстинктивно проникся подозрением – натворить Мотя вполне мог будьте-нате! Я провидел это задолго до того, как Мотя по-настоящему со мной заговорил. Нет, он не был немым, напротив, вполне болтливым подопечным, из тех, которые охотно идут на контакт с любым желающим общения. Вопрос здесь не в количестве, а в сути произнесенных слов.

В нашем стационаре Мотя прижился. И, кажется, чувствовал себя не просто прилично, но в какой-то степени счастливо. Не оттого, что примирился с бессрчным своим существованием в качестве клиента психбольницы. Но потому, что для Моти само понятие свободы имело иной, весьма далекий от общепринятого, смысл. Мне казалось порой, будто бы он вовсе не сознавал свое подневольное положение. Будто бы в его полной власти покинуть наше застойное учреждение в любой момент, когда только ему заблагорассудится. Не сбежать, не получить выписку прочь за хорошее разумное поведение. Именно уйти по своему хотению, очевидным образом на глазах у персонала. И ни я, ни любой другой медбрат, ни даже наш Мао не в силах ему воспрепятствовать. Почему? Кто его знает! Я бы точно не встал на его пути. И за других с уверенностью мог сказать то же самое. Особенно теперь, когда многое прошлое осталось позади.

Но, чур, уговор не забегать вперед! Рассказ мой и впредь станет следовать естественному временному порядку, как если бы я не только памятью, но и самым физическим телом моим вернулся вспять и проживаю те далекие дни заново, не ведая собственного будущего. Итак, о Моте.

Вообще-то Мотя оказался страшный сачок. Во всем, что касалось лечебной трудотерапии. Понятное дело, у нас, как везде. Да и как иначе при тотальной здравоохранительной бескормице. Кто-то должен мыть полы – на роскошь в лице нянечек-санитарок капиталов не хватало, их ставки давно были расписаны по совместительству: порой в медицинские братья и сестры принимали, кого бог пошлет, лишь бы имелся близкий по смыслу диплом о полном среднем. Кто-то – следить за чахлым садом-огородом: пойдя, протяни зиму без подсобного хозяйства, пускай самого крошечного. И, наконец, надо выполнять подряды по сверхсложной сборке-склейке серых канцелярских папок – дешевейший картонный товар, но Мао с превеликим трудом раздобыл заказ, чуть ли в кровь не расшиб свой высокий лоб с залысинами. Эти самые папки в основном нас и кормили, скудных ведомственных средств едва хватало на латание насущных дыр, про неведомственные общие минздравовские харчи я и не говорю, я не Жванецкий, чтобы смешить людей чужой бедой.

Мотя никогда не саботировал открыто. Не вставал в позу, не провозглашал деклараций «пустьмедведьработаетаявамнелошадь», и тому подобное. Хотя вполне мог вставать и провозглашать, в карцер у нас не сажали, холодной водой не обливали, в стационаре было тихое мирное житье, почти домашнее. Да и скука, оттого многие трудились весьма охотно, чтобы скоротать время. На любую просьбу-поручение или прямое указание Мотя отвечал обычным односложным «да» и приветливо сопровождал свое согласие кивком, а то и двумя. Этим дело и ограничивалось. Мотя отправлялся на неспешную прогулку вдоль чугунной ограды, а требователь или проситель своей дорогой. Если Моте намекали вторично, то он вновь произносил свое сакраментальное «да» и послушно кивал головой, будто потревоженный китайский болванчик, и продолжал мерить шажками внутренний больничный периметр. Кричать на него

было бессмысленно и как-то неловко, оттого выход представлялся один – отстать от человека. Порой наш главный, в общей столовой на публике, объявлял Моте нестрогий выговор за несоблюдение режима, но это для проформы, чтобы было видно – начальство бдит на посту. Мао и в буйном эротическом сне бы не привиделось действительно применять к Моте какой-либо, даже самый безобидный вид насилия. Словно бы главный опасался последствий. Не со стороны людей, но вроде бы он отдавал за Мотю отчет каким-то неведомым вышним силам, как если бы посылал рапорт наверх, за облака, сигнализируя: «С вашим подопечным все в порядке».

Хотя, скорее всего, просто не имел желания связываться. Один тихий бездельник – обстоятельство вполне терпимое. Это я так поначалу думал. И думал неверно.

А Мотя гулял. Как выразился бы другой мой напарник «Кудря» Вешкин, прохлаждался. Зимой и летом, в любую погоду, скользила кругами, слегка подпрыгивая, точно поплавок на пруду, его коротенькая, колобообразная фигурка, в вечной вязаной шапчонке из лиловой с прозеленью ангоры. Явно дамского фасона, но Моте, как и всем прочим постояльцам нашего дурдома, приходилось носить, что придется из благотворительных пожертвований, тут уж не до жиру. Впрочем, единственно к этой самой шапчонке Мотя был по непонятной причине привязан трогательно, и всякий раз входя в помещение, он бережно свертывал свою ангору и убрал в задний карман просторных матросских штанов, чтобы непременно торчал наружу уголок. Такая была у него причуда.

Другая его странность, если это подходящее здесь слово, приводила меня в полное недоумение. А при первом близком знакомстве и шокировала. Мотя не умел читать, то есть, совершенно. Писать, впрочем, тоже. Он вовсе не страдал дислексией, ни даже в малейшей степени *dementia praecox*, или слабоумием. Но вот не умел, и все тут. На любые, самые доброжелательные попытки – я лично их предпринимал не раз, – пополнить его образование, Мотя отвечал решительным отказом. Нет-нет-нет-нет, словно из пулемета очередь. И отворачивался. При этом не было на свете такой вещи, которой, казалось бы, он не знал. Это тоже выяснилось случайным образом. Главный однажды сказал, так бывает. У человека развивается сверхнормальная автоматическая память, он повторяет все, что слышал когда-нибудь, разумеется, бездумно.

Если бы! Я-то вскоре догадался, что это далеко не так. Мотя прекрасно знал, что говорит, и логикой мышления обладал, куда там на пару Расселу-Уайтхеду, вот только окружающие его люди не всегда понимали смысл сказанного. Но это была уже не его проблема.

Маленький, странненький, страшненький – на пухлом личике острый горбатый нос, тонкие бескровные губы и совершенно круглые разноцветные глаза, зеленый и голубой. В общем, сова совой. Мне отчего-то представлялось, что он не спит по ночам. Всякий раз, когда согласно долгу службы я заходил в четвертую палату, – по три койки в два ряда, Мотина крайняя справа у окна, – совиные глаза его были плотно закрыты, дыхание размерено и глубоко. Но я все равно сомневался. Чересчур уж плотно стиснуты веки, сосредоточенно сжаты кулачки поверх одеяла, и все тело в целом напружинено так, будто в одно мгновение готово сорваться на старт, отвечая команде «Подъем!», и сделать все, что полагается на армейской побудке за сорок пять секунд.

Порой Мотя совершал неуместные поступки. Или как говорил наш главный, «невместные». Не от безграмотности говорил, но чтобы тем самым определить высшую степень этой неуместности. К примеру, однажды в день приезда инспекции – и такое бывало, как же иначе, – мелкой сошки из ведомства, старающейся галочки ради, Мотя забрался на седую от старости, корявую ель у ворот. И, главное, как забрался? Нижние ветки, согласно все той же незапамятных времен инструкции, обрубали начисто. И вот с этой-то ели стал метко разбрасывать перед чиновной личностью отборнейшие комья садовых удобрений, или попросту грязь, перемешанную с навозом. Будто бы стелил под ноги своеобразную ковровую дорожку. Конечно, с психа что возьмешь? Проверяющий так и понял, даже улыбнулся сочувственно Мао. Даже пообещал некое мифическое денежное вспомоществование. Даже толику разбавленного дистиллятом медицинского спирта принял с удовольствием, для него, видать, это сделалось незабыва-

емым приключением во всамделишнем дурдоме. Но главному было не до смеха, кто его знает, как все могло обернуться? Потому наш Мао на следующий день потребовал от Моти объяснений. Потребовал решительно-начальственно. И Мотя их дал. Если угодно, я здесь же приведу. Не дословно, но близко по смыслу. Суть их была такова.

В мире вещей ищи соответствия. А найдя, проводи параллели. Потому что жизнь идет мимо нас, не обращая на нас внимания. И чтобы привлечь это ее внимание, нужно встраивать найденные соответствия в настоящее бытие, даже если действие сие чревато последствиями.

Мао психанул не на шутку. Впервые на моей памяти заговорил на повышенных тонах, да еще прилюдно – объяснений наш главный по привычке потребовал в столовой во время общего ужина, в воспитательных целях, и просчитался. Голос его гремел, что твое ведро, сверзившееся вниз по бетонной лестнице. Склонял Мотю на все лады. И неблагодарный он, и хулиган-зазнайка (загадочный симбиоз!), и равнодушный член социального общества. Когда же главный отгремел положенное, Мотя, ничтоже сумняшеся, примирительно сказал (и век мне того не забыть!):

– Вот хорошо, если бы на свете было бесконечное мыло. Не правда ли, Марксэн Аверьянович? Это вполне может стать превалирующей идеей современной научной мысли. Представьте только, что единственным куском вы бы перемыли всех нас за один раз, потом за другой, и так до окончания действительных времен. И никаких дополнительных расходов. Надо было ревизору вашему намекнуть, пусть бы похлопотал.

Если Мао не хватил тогда удар, то благодарить за это надо его жену, Ольгу Лазаревну, штатного психотерапевта, первого и последнего в нашем стационаре. Она скорее прочих к нему подскочила:

– Маша, Маша, ой, не надо! – позабыла с перепуга, что дело происходит не в их семейном флигеле, а при всем честном народе. Но увела, хотя наш главный упирался и на ходу искал распаленным взглядом окрест тяжелые предметы. Не нашел, мы тоже, не будь дураки, всей дежурной сменой встали на стреме.

На следующий день Мао было стыдно за свою ослепительную вспышку, а нам за то, что мы сделали невольно свидетелями начальственной потери лица. Только с одного Моти минувшие события стекли как с наглого гуся вода.

Или вот еще, другой пример. Тут уже блажь нашла на блажь. Как-то главному взбрело на ум повеселить по наступившей весне вверенный ему контингент. Мао вообще неплохой был мужик, и классный профильный спец, когда, конечно, ему не попадала под хвост конгениальная вожжа. Которую он отчего-то называл неформальным новаторством.

Если коротко, случилось все на берегах нашей грешащей глубокими омутами речки Вражьей – не удивляйтесь, это настоящее ее название, кто-то когда-то разбил здесь монголов, а может татар, а может, я путаю, и не мы их, а они нас, но не суть. Еще короче – киностудия «Новый Межрабпомфильм» (совсем не то, что вы припомнили из ранней истории синематографа, а «Межрасовые аболиционисты помпезных фильмов») снимала там кино. Километрах в пятнадцати вверх по течению, считая от нашего Бурьяновска, около Заболоченной Гати, должной по сценарию изображать переправу через Сиваш. Так вот, эти пришлые деятели «кина и орала», (в смысле «орать» от слова «матюкальник») выписали себе полэскадрона кремлевских конных курсантов, потому что снимали по поручению и при поддержке Сами Знаете Кого.

И Мао пришла в голову благотворительная мысль. Все равно летучие курсанты целыми днями бездельничали, потому как для сцены атаки ждали дождь, а стояло ведро. Так не соблаговолит ли господа военные порадовать катанием верхом обиженных богом и нормальной психикой, но, в общем, вполне миролюбивых сограждан? С этим и отправился на поклон. Согласие он получил на удивление быстро – курсанты маялись в безвылазной тоске, лошади зазря нагуливали лишний жир, но самое важное, кавалеристский капитан почуял тренированным нюхом запах дарового спирта.

С этим капитаном и вышла история. Точнее сказать, с его любимой лошады. Уж как звали его росинанта, я не припомню, кажется, это была гнедая кобыла по кличке то ли «Снежинка», то ли «Дождинка», в общем, нечто связанное с погодой. Капитан кобылой очень гордился. Особенно ее необыкновенной понятливостью и хитрой сообразительностью. Пока пациенты наши катались в свое удовольствие под чутким курсантским присмотром – кто шагом, а кто поотважней и мелкой рысью, – капитан все выхвалял перед Мао свою лошадь... Мотя стоял поодаль. Кататься верхом он даже не собирался, а вроде бы сочувственно смотрел со стороны на забаву. Его приглашали, не особо настойчиво – как-никак официально псих, Мотя только отмахивался и нарочно дурачки улыбался. Я знал, что нарочно, обыкновенная его улыбка всегда носила несколько скептический оттенок аттического сомнения. Но потихоньку Мотя подбирался все ближе к беседующим чинно начальственным персонам. Какое-то время он слушал смиренно, и на него не очень-то обращали внимание.

А капитан разливался на всю округу соловьем. Уж кобыла его такая-разэтакая. Умница-разумница. Понимает все с полуслова, куда иным прочим – приказы исполняет еще до получения оных. И воспитанная она, и чуть ли не грамоте разумеет, хоть сейчас с королевой английской за стол. Видно было, капитан души не чаял во вверенном ему непарнокопытном животном. Мотя слушал, слушал, но вдруг возьми и скажи, ни с того ни с сего, довольно громко перебив хвалебную речь. Так, что на поляне не осталось ни единого человека, по крайней мере, из официально вменяемых, до кого бы он не донес свою неожиданную мысль. Короткая пара фраз, но каких!

– Конь умным быть не может. Конь – это всего-навсего быстрая корова.

Презрительно так сказал. Будто бы строгий учитель выговаривает двоечнику за плохо усвоенный урок. И пошел прочь, как если бы всему происходящему цена копейка. Что было дальше! О-о-о! Сине-багровая физиономия, встопорщенные буденовские усища, стрелять надо таких гадов, и за что проливали кровь наши деды! Капитан, дыша гневной злобой, будто дракон огнищем, увел в спешном порядке всех своих кобыл и жеребцов, и курсантов тоже забрал. Даже от спирта отказался, выразившись в том смысле, что какой там спирт, в один сугроб какать не сядет рядом и под угрозой комиссования. Благотворительная прогулка накрылась. Но самое удивительное было то, что наш главный не выказал ни удивленного негодования, ни интеллигентно-униженного разочарования. Лишь напутствовал отступающий полуэскадрон грустными словами:

– В общем-то, он прав, – и я подумал еще, что слова эти скорее всего относились к Моте, а не к бравому капитану, любителю благовоспитанных кобыл.

Проделки Моти были вопиющими, но в целом безобидными. Если исключить непереносимую иерархию нашей жизни, то выходили и смешными. Однако все дело как раз и заключалось в том, что ступенчатость отношений не существовала исключительно для одного Моти, мы же, и особенно наш главный, не были готовы к подобному отказу от общепринятой формы повседневного существования. То, что казалось нормальным для нас, ему словно бы виделось неправильным, незаконченным и лишним. Суть его была бездной, незримой для окружавших его. Наверное, поэтому Мотя и оказался в стационаре за № 3, 14... в периоде. А я, после того случая с капитаном и кобылой, все чаще задумывался про себя: «Но, может, он прав?».

* * *

По счастью, несмотря на думу о Лидке, на дежурство я не опоздал. Не то, чтобы в противном случае я получил нагоняй. Нахмуренные сизые брови Мао и внушительно-воспитательная укоризна: «Вы, Феля, решительно манкируете обязанностями!». Тем бы процесс взысканий и ограничился. Да и что бы наш главный смог поделаться? Будто вольнонаемные санитары стоят к нему в очереди и ждут, не дождутся, когда их зачислят в штат! Днем с огнем не сыскать,

хотя бы на временную замену. Но все равно, дисциплину мы соблюдали, блюдем ныне, и будет стоять на страже впредь. Аминь... Даже занудный Ивашка Лабудур. То ли незримая сия однадцатая заповедь таилась всегда в самой атмосфере нашего лечебного учреждения, как я уже упоминал, несколько семейного характера. То ли все работники, без исключения сознавали, если не умом, но на уровне охранительного инстинкта. Психушка, она и есть психушка, относительно какого бы ранга, ведомства и благосостояния она ни числилась. А значит залог ее мирного существования – достаточно строгая дисциплина со стороны обслуживающего ее персонала. Это как иметь дело с дрессированными хищниками. Сегодня они прыгают в горящий обруч и выполняют трюки на тумбах, а завтра, стоит только расслабить внимание, их укротителя «скорая помощь» транспортирует в разобранном состоянии до ближайшей реанимации.

Вообще в нашей работе, я так считаю, главное – ритм. Не дорогостоящие затеи с водными и электропроцедурами, не последнего поколения шаманские снадобья от швейцарских производителей, не ультрамодные нейролептики, «атипики» и «пролонги», и уж конечно не шарлатанские выкрутасы с гипнозом и сомнительным психоанализом. Но размеренное житие изо дня в день, согласно непоколебимому распорядку. Оттого полная ясность, что будет через пять минут, через час, через месяц, через год. Побудка, еда, прогулка, трудовые усилия, библиотечка, незатейливые развлечения, отбой. И никаких скоропалительных экспериментов. Пациентов обыденность успокаивает. Потому что в большинстве своем наши постояльцы – беглецы. Не столько даже от внешнего мира, напротив, его они с охотой готовы постигать извне. Но от присущего ему хаоса событий, которого нельзя избежать, если принимать в нем активное соучастие. Оттого излечить окончательно и сделать наших подопечных пригодными для гражданской жизни можно, только при условии изменения самой этой жизни, насильственного подчинения ее строгому закону без случайностей. Что, понятно, никоим образом нам не по силам. Отсюда, повседневный заданный ритм – как защита и обещание спокойного и безопасного будущего. Потому особенно ужасны новая метла и тотальная смена персонала. Чего у нас, насколько я в курсе, не случилось по счастью последние лет двадцать.

Конечно, кое-кто с наилучшими намерениями в корыстных целях, стал бы благовестить петухом. Дескать, надо менять не жизнь, но саму личность пациента, пусть, мол, он приспособливается, а уж мы возмездно подкинем методик. В разрезе нашего стационара – это такое же невозможное предприятие. Потому что, все хваленые методики разбиваются о простое человеческое «не хочу». Наши клиенты уже были снаружи, все там видели, все слышали, все дерьмо понюхали, и ни за что не желали возвращаться обратно. Их, так сказать, и чурчелой не выманить. За долгие годы – ни единой выписки на волю. Даже тех, кого давно можно. Но Мао в этом вопросе – скала с отрицательным уклоном, попробуй, одолей. Ни у одной комиссии не вышло ни черта. По его собственному утверждению: проще нормального изобразить психом, чем привести доказательства его полноценной вменяемости. И уж такие узоры способен расписать! Отчего проверяющие, как правило, в страхе «делали ноги», довольные, что задешево ушли. Да и кто те проверяющие? Давно не стоят как эксперты и практикующие врачи ни шиша, лишь бы бумажки сошлись в начале и в конце, а там и взятки гладки. Тем более, стационар наш был в ведении некой организации, которой всегда присуща излишняя осмотрительность, а закрытость в самой ее крови. Известно, за вход рупь, а за выход – карманы наизнанку и то, не хватит денежных знаков.

В стационаре нашем в то, ставшее мемориально-достопамятным, утро царило некое подобие аварийного переполоха. Я это учуял, едва переступил порог. Фигурально выражаясь. То есть, не успел ваш покорный слуга добраться миром до раздевалки средне ответственного персонала, как заподозрил признаки необычной суматохи. У нас не принято передвигаться бегом, окликать друг друга на расстоянии, по крайней мере, громко, и уж никак не в обыкновении раскидывать, где попало, медицинские принадлежности.

Но, вот же, прямо в холле, на списанном обкомовском диване с подклеенной аккуратнo там и тут кожаной обивкой, валялся – именно, что валялся, – забытый или заброшенный синий терапевтический фонендоскоп. Мне не потребовалось даже присматриваться к опознавательным инициалам на кусочке ленточного пластыря, прикрепленного к одной из дужек. Фонендоскоп я узнал сразу. И буквы там могли располагаться лишь в единственном сочетании. М. В. Д. Что значило – Мухарев Вячеслав Демьянович. Или в нашем внутреннем обиходе – дядя Слава, фельдшер со стажем, носатый старичок, только что разменявший восьмой десяток. Дядя Слава, древнейший здешний служитель, который год как занимал врачебную должность, за катастрофическим отсутствием настоящих, дипломированных специалистов, и справлялся, дай бог каждому. Гора опыта, приобретенного в «боевых» условиях, плюс авторитет, порой не уступавший влиянию главного. А уж чутьем на неприятности М.В.Д. намного превосходил его.

Чтобы дядя Слава вот так, запросто, покинул в небрежении знак своего докторского достоинства? Да это все равно, как если бы гвардейский полк в учебном походе обменял на чекушку орденoное знамя! Фельдшер Мухарев ничем на свете так не гордился, как этим самым синим фонендоскопом, который заменял дяде Славе и диплом, и аттестацию, и все почетные грамоты взятые вместе. Фонендоскоп зачастую фельдшеру Мухареву был ни зачем не нужен, или крайне редко использовался для любознательного подслушивания – ничего не напишешь, старая школа. Роль его выходила чисто орнаментальная, как погоны у отставного генерала. Чтоб каждый увидел и прочувствовал – до чего дослужился исключительно в силу природной справедливости без всяких там просиживаний штанов в учебных аудиториях. Все мы без зазрения совести подыгрывали старику. Хотя бы потому, что на своем месте дядя Слава и вправду был пока незаменимой и неприкосновенной персоной.

Брошенный фонендоскоп меня смутил. А тут еще на меня налетела Верочка – медсестричка из женского отделения. Тихая, душевная клуша, по жизни шествовавшая в розовых очках, – ей самой впору записаться в пациенты, – обычно вечно неторопливая и ласково неповоротливая. И надо же, в галопе чуть ли не сбила меня с ног. Застыдилась, конечно, сильно. Ни для кого не было секретом и давно, что Верочка ко мне равнодушна, но из-за врожденной приниженности серой мышки позволяла себе одни лишь вороватые взгляды и мелкие, украдкие, ненужные услуги.

Даже в романтической растерянности, обычно красящей всякую женщину, у Верочки оставался придурковатый вид. Станным мне показался не только ее тяжеловесный бег по служебному коридору, но и обращенные ко мне слова (всегда на «вы» и никогда по имени):

– Вам чистый халат от Нины Геннадьевны! Приготовлен! Возле шкафчика на распалочке! – и Верочка поскакала дальше, покинув меня в состоянии легкой ошарашенности.

Зачем мне чистый халат? Машинально подумал я. Третьего дня менял, и та же Нина Геннадьевна, наша экономка-кастелянша, ворчала, что, мол, не напасешься. Девчонки сами стирают на дому, вот у мужиков руки-крюки, прачечная не резиновая, пока прокипятишь, всего-то две старые центрифуги, совсем убитые, где новые взять, пачкать каждый может, а как помочь пожилой женщине, так нет никого, повышенное давление и кости ломит к дождю. И все в таком же духе. С чего бы вдруг чистый халат без всякой о том просьбе с моей стороны?

Однако халат меня ждал. У шкафчика на распалочке. Накрахмаленный до дубовости, выглаженный ровно, что называется, с иголочки франтом. Красота. Но слишком уж подозрительная. Не будь дурак, я скоренько переоделся.

По дороге на утреннюю планерку – пять минут напутственной трепотни и передача смены, – меня перехватил Лабудур. Тогда и прозвучало из его уст, выброшенное на ходу новомодное словечко: «Спонсор!» К нам едет спонсор! Куда более лихо, чем сакраментальное: «К нам едет ревизор!». Хотя кого в нашем стационаре удивишь ревизором? А вот спонсор, иначе доброхотный безвозмездный жертвователь, это дело! Хорошо бы деньгами, и совсем замечательно, если зелеными – после недавнего дефолта отечественные деревянные даже в Бурьянов-

ске не вызывали никаких других чувств, кроме злобного сарказма. Совсем не то – гуманитарная помощь лежалыми продуктами или выбракованными санитарной инспекцией шприцами, еще хлеще – двуцветной лентой для пишущих машинок, и такое было однажды. Впрочем, ради завалившего товара не стал бы Мао поднимать шум на весь птичий двор. Значит, благотворитель из серьезных, сделал я многозначительный вывод. Ну и мы не ударим в грязь лицом, в смысле – как следует, поторгует оным.

Спонсор прибыл к обеду. За это время как-то успели навести поверхностный лоск. Непривычному, развращенному хай-кутюрами посетителю внутреннее содержимое нашего стационара могло показаться сильно неприглядным, а чрезмерно приbedняться главному не хотелось. Бедному подадут копейку – здраво рассуждал наш Мао, – а приличному и нуждающемуся не чересчур, всегда отваяют сытую пайку. Хотя бы потому, что оборотистый не похерит бестолково чужое кровное, но надежно вложит в хозяйство. А нищему давай, не давай, богаче он все равно не станет. Дедукция верная не только в отношении нашего дурдома.

К входным, необозримой высоты дверям подтащили пирамидальную кадку с могучим фикусом. Зеркальная Ксюша, пациентка из второй женской, битый час обтирала с нежностью каждый листочек – дотошно, дабы не просмотреть, где осталась пылинка! Возникли ковровая самолетная дорожка и оцинкованная легковесная плевательница. В столовой спешно настелили бумажные полотенца, призванные изображать скатерти – самый неприкосновенный запас. В мужской общий туалет вернули пластиковые сиденья, из тех, с которых съезжаешь попой. Дамскую уборную во избежание закрыли вообще – на всех стульчаков не хватило. И то верно, если гостю приспичит осмотреться или оправиться, вопрос, куда он пойдет? Только позже мне пришлось на ум, а вдруг спонсор – женщина? Но Мао успокоил: точно, мужик, он нынче утром разговаривал с благотворителем лично по телефону.

Надо ли упоминать, что Мотя все это время гулял с полнейшим равнодушием вдоль больничного забора? Однако к обеду и к прибытию спонсора с чинным видом появился в столовую.

Спонсорский визит происходил с некоторой помпой, к нам обычно таково не ездят. В широко распахнутые ворота черными левиафанами вползли на брюхе два джипа «Юкон» и припарковались по линейке, будто степенные монстры, сговаривающиеся об охоте. Из первого вообще никто не вышел, ни ноги поразмять, ни за естественной надобностью. Сквозь непроницаемые ночные стекла нельзя было определить, притаились ли там человеческие существа. Наверное, кто-то определенно сидел хотя бы за рулем, ведь механическое чудовище двигалось и пытело не само по себе.

Из второго вывалились двое парней неопределенной принадлежности. Не в смысле сексуальной. Набывчившиеся здоровяки, уже не бритые наголо и не в клюквенного цвета пиджаках лифтеров дорогих гостиниц. Однако тщетно прикидывавшиеся утомленными жизнью аристократами-гастролерами. Этакая помесь люмпенствующих бандитов с нахватавшимися начатков культуры парвеню.

Один из них распахнул заднюю дверцу, второй заозирался наскоро, многозначительно положив правую руку на бедро. Дешевый шик и показуха, рассчитанная неизвестно на кого. Ну и «шпрехензидойч» с ними, люди тоже деньги отработывают, всякий по-своему. Вот хозяин их, тот был интересная штучка.

Сначала на посыпанный щебнем двор опустили две стиснутые блестящими туфлями ноги – именно опустили, а не ступили. Вернее даже сказать, снизошли. Будто бы ощупали под собой землю – достойна ли держать? Потом появилась бурая с сединой макушка – посреди едва заметная лысина размером примерно в пятак. Отчего-то эту намечавшуюся лысину я запомнил и отметил более всего. Собственно, стоял я совсем неподалеку – вместе с Мао вышел встречать «дорогих гостей». Почему именно я? Так всегда бывало, когда требовалось придать нашему больничному посольству приличный статус. И в силу внушительности фигуры, и в силу приобретенного в столице образования. В общем, со временем поймете.

Мы даже не знали его имени и звания. Визит случился скоропалительный, с уведомлением за несколько часов, в стационаре никого не ждали, и немного подрастерялись. А когда спонсор выгрузил на белый свет остальную часть своей особы, наш главный спасовал совсем.

У вышедшего из автомобиля человека был такой вид, словно он понятия не имел, куда его занесло и вообще какова официальная цель его приезда. (Забегая самую малость вперед, скажу – именно подобным образом все и обстояло в действительности). Он был далеко не стар. Но все же. Изможденное чучело тигра с тревожными желтыми глазами, вот единственно подходящее описание всей его фигуры. Глубокая сеть морщин на худом лице – будто пресловутые каналы на Марсе, брезгливо поджатые жухлые губы, вздувающиеся тяжелой одышкой щеки – все, точно сухой шуршащий осенний лист. Пергаментная кожа рук, попытка держаться по-военному прямо и противоречащая ей расхлябанность шага. Видно было: его раздражало само это место, необходимость приезда сюда, непонятная нам, а в придачу жара, ветер, небо и даже пейзаж, открывавшийся с горы. Довольно приятный, надо признать.

Главный представился, чучело ответило ему тем же. Без намека на приветственное рукопожатие, без показного оттенка доброжелательности. Николай Иванович, и точка. Ни фамилии, ни рода деятельности, вообще никаких больше подробностей мы от него не услышали. Спросил только:

– Вы из бывших дворян? – (спросил естественно Мао, не меня).

– С чего вы взяли? – перепугался наш главный.

– Олсуфьевы – старинный дворянский род, – кисло пояснил пришелец. Скажи, пожалуйста, какая просвещенность! Но, почему бы нет? Искать во всем и везде благородные корни теперь в моде даже у отпетых уголовников.

– Ах, да! – наш Мао чуть ли ни обрадовался. – Мои предки некогда крепостные... из крестьян... после обретения вольности было принято записывать на фамилию барина.

– На фамилию барина, – повторил за ним мумифицированный Николай Иванович. – Это правильно.

И дальше замолчал. Так что Мао пришлось взять инициативу на себя. Гостя и двух его подручных «бычков», как и положено, повели по наиболее приглядному маршруту для осмотра заведения. Трудовая, игровая затем лечебно-процедурная, палаты на втором этаже, снова вниз – пока не добрались по кругу до общей столовой, визитер только и делал, что мрачно кивал и косился по сторонам. Мне отчего-то стало казаться, будто бы этот загадочный Николай Иванович искал кого-то или что-то, причем искал не просто так – уцепиться взглядом для душевного равновесия или из опаски, но искал со смыслом. Хотя, что можно у нас искать, и, тем более что можно у нас найти? Не сокровищница Лувра и не запасники Эрмитажа. Но я подумал, мне показалось.

В столовой он задержался – остановился и долго смотрел, как обедают наши подопечные. На него тоже поглядывали с интересом, но мыслей вслух не выражали, пациенты наши были заняты более содержимым своих мисок – по случаю спонсорского приезда пришлось обогатить меню, главный в надежде на пожертвования даже залез в семейный карман. Затем Николай Иванович попросил, и попросил неожиданно:

– Расскажите поподробней о ваших пс... – тут он осекся, поправился с некоторым нарочитым пренебрежением, будто его из-под палки заставили соблюсти приличия. – О ваших наблюдаемых, – голос его и без того неприятный и визгливо-скрипучий резко вдруг упал в басовый, сатанинский регистр.

Делать нечего, Мао стал перечислять всех по очереди. Николай Иванович слушал бесстрастно. Но я уловил со стороны, как на двух именах и прилагаемых к ним коротких историях тигриные его глаза вспыхнули. Не любопытством, нет. Я искал подходящее сравнение, но вместо него нашел вдруг аналогию. Точно так же загорелись глаза совсем недавно, прошедшим утром у новой моей знакомой – у Лидки, когда она узнала от меня о роде моих занятий. То

же самое выражение, будто на дороге вдруг найден кошелек с сомнительными червонцами. А я был сущий олух. Что бы мне припомнить любимую Мотину присказку! В мире вещей ищи соответствия. А найдя, проводи параллели. Но нет, я только разлопушил уши.

Короче, заинтересовали Николая Ивановича поначалу двое. Зеркальная Ксюша и Конец Света. Биографии остальных пациентов, житейские и лечебно-диагностические, как мне показалось, оставили его не то, чтобы равнодушным. Но слово бы он потратил впустую часть драгоценного своего времени на выслушивание ненужных подробностей. Ну, Зеркальная Ксюша, еще, куда ни шло. Хотя, на мой взгляд – легкая форма паранойи совсем не повод для повышенного любознательства. С другой стороны, случай забавный. Однако не более того. А вот какой интерес мог представлять для кого-нибудь Сергей Самуэлевич Палавичевский – он так и просил всегда называть его именно Сергей, ни в коем случае не Сергей, – загадка, да и только. Прозвище его было Конец Света, отчего – в данный момент придется опустить. Но, несмотря на зловещий псевдоним, Сергей Самуэлевич слыл приличным пожилым мужчиной, да что, там слыл, таковым и являлся. Давно морально и психически готовый к выписке – предмет очередной служебной жалости нашего Мао. Некоторые его особенности мало, а то и вообще никак, не служили помехой для полноценной жизни среди не ограниченных психиатрическим приговором нормальных обывателей. Но Палавичевский не желал на волю и баста. А желал оставаться в стационаре № 3, 14... в периоде до самого конца света или до своей собственной кончины, что казалось весьма более вероятным.

Заметьте, любопытных персонажей в нашем безопасно-угодном заведении имелось, хоть отбавляй. К примеру, неразлучные братцы-близнецы Федор и Константин Рябовы. Русоволосые и безвозрастные – Гридни, их так и называли обоих вместе, по внешнему виду, будто румяные юные молодцы из сказочной царской дружины. Зимой и летом в простых хлопчатых рубахах, сами же и вышивали по вороту крестиком малорусский узор.

Или «путешественники». Иначе, пришельцы. Таковых тоже было двое. Правда не родственники, и даже из разных отделений, мужского и женского. «Путешественники» оттого, что якобы побывали в легендарных краях, не существующих на карте мира. Тоже дело частое, но в отдельном исполнении – заслушаешься, настолько связно. А для меня еще и познавательно, с профессиональной точки зрения, такие порой излагались теософские теории, любой академик бы диву дался, если бы отважился отнестись всерьез. Да мало ли кто! У нас товара было от щедрот горой, на любой спонсорский вкус.

Мотю, конечно, оставили без внимания. Так, упомянули вскользь. Но я только в тот момент сообразил одну знаменательную деталь. А ведь верно. Про Мотю ничего особенного не скажешь. Про самого нашего удивительного и загадочного излагать нечего. Ни в занимательной форме, ни в обыденной. Ну, амнезия, ну, неграмотен, время от времени эксцентричен – тоже мне новость, для дурдома. И что? И все. Ни фобий, ни навязчивых идей, ни параноидальных бредней и видений, ни травматических, буйных выходок. Пустое место для проверяющих и посещающих. Николай Иванович в сторону Моти даже взглядом не стрельнул. И досадливо поморщиться не успел, так коротко было повествование о нем. Имя, провал в памяти, вспомнит, так выйдет, но пусть себе живет пока. Вообще Мао словно бы отрезал его, словно бы изображал скорый поезд, несущийся мимо грязной мусорной кучи, чтобы путевая инспекция не успела засечь беспорядок. Еще бы, ну как вылезет Мотя с ненужным словесным замечанием оскорбительного характера, и прости-прощай спонсорские денежки. Но Мотя молчал. Смотрел исключительно в эмалированную миску, созерцал аляповатую ромашку на ободке, потом гонял по дну одинокий зазевавшийся хладный пельмень, поймал – обрадовался, тем дело и ограничилось.

– Это – все? – сухо спросила мумия тролля, как про себя стал я вдруг называть присно-сущного бесфамильного Николая Ивановича. Будто от него прятали кого! Что он – инспекция Минздрава, что ли?

– А? Да, все. В том плане, кто может присутствовать по здоровью, – с услужливой готовностью отозвался наш главный.

– А кто не может? – с допросным нажимом осведомился Николай Иванович. Как если бы мумия тролля и в действительности имела над нами некое начальство.

– Кто не может, получит обед в палату. По рекомендации лечащего врача, – Мао кивнул в сторону дяди Славы Мухарева. Тот величественно и согласно кивнул в ответ. Визитер дяде Славе явно пришелся не по душе. – Таковых вообще-то один человек. Недомогание его временное, – здесь Мао налгал, но я его очень хорошо понимал. Я бы тоже поступил соответственно.

– Нужно осмотреть, – приговорил судейским тоном мумифицированный.

Вот это да! Вот это нахальство! Да кто он, в самом деле, такой, чтобы... Спонсор. Ответствовал я себе. Человек, облеченный присвоенной властью дать или не дать. В нашем случае – почти быть или не быть. Купить или не купить. Приличные матрасы и набитые пером подушки, рубероид для починки вечно текущей крыши, а вдруг хватит переоборудовать душевую, которая кошмар, давно пора оштукатурить левое крыло – сыпется труха со стен, будто перхотная короста с бомжа. Перечислять можно здесь без конца. На все, понятно, не дадут, но хоть на что-нибудь. Потому надо терпеть любые выкрутасы. Потребуется, споем и спляшем, и ты в том числе – укорил я собственную гордость. Назвался народовольцем, полезай в петлю!

Делать было нечего. Строем пошли опять во второй этаж, к Феномену. Впереди наш главный с мумией тролля. За ними я и дядя Слава. Замыкающей семенила Ольга Лазаревна, тщетно надеясь на благотворное женское влияние. Такого Николая Ивановича проймешь, как же! Хоть взвод монашек пригласи псалмы петь.

– Ну и выблядок! – одними губами, но довольно понятно сказал мне в шаг Мухарев. И словно подтвердил мои прежние мысли: – Терпи, Феля, ничего не поделаешь. Не сорок третий... – и дядя Слава мрачно замолчал, стал нарочито громко топотать, что в войлочных тапках было весьма непросто.

Характеристика вышла не в бровь, а в самую зеницу ока. Я бы сам так сказал, если бы не дал себе однажды зарок никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять на службе матерных выражений. Да и для дяди Славы это было не в порядке вещей, видно, мумия тролля сразу и без поблажек вызвала в нем отвращение. К тому же, упоминание о сорок третьем. Я знал, что произошло в том военном году. Фельдшер Мухарев рассказывал мне и всем желающим послушать, не раз. Как в штрафной роте зеленым совсем мальчишкой участвовал в тайной самодеятельной казни мародера из заградотряда. Поймали за руку среди смердящих трупов – и сам добытчик мертвечины смердел, что твой трупоед, – и замордовали, задавили, тишком, но по полной мере выдали – война все спишет. Она и списала, никто сунуться не посмел выяснять, что да как приключилось.

Дошли наконец, будто гуси клином, до изолятора. По нужде переделанном в одноместную жилую палату. Здесь и обитал Феномен. Помещать его с другими пациентами представлялось никак не возможным, не столько из-за характера его болезни, сколько в силу тотального нежелания облегчения – излечить Феномена было вовсе нельзя, даже если бы он сам захотел, а Мао имел в своем распоряжении свободные средства.

– Так ему и надо, – зловещим шепотом хохотнул мне в спину Мухарев.

А я без лишних комментариев понял, что старик имел в виду. Феномен, он же Лаврищев Гений Власевич, являл собой зрелище не для слабонервных. И не он один, но среда его обитания в целом. В смысле палата-изолятор, которую Феномен «украсил» по собственному вкусу.

Представьте, что вы попали в обиталище маньяка, страстно увлекающегося «расчлененкой». С наглядными пособиями на листах серого бэушного ватмана по стенам. Части тел в разрезе, в перспективе, нарисованные четкой и твердой рукой преимущественно в цвете. Некоторые с аномальными добавками и мутационными изменениями жутковатого инопланетного

характера. Очень живые и веселящие картинки. На полу во множестве – проволочные гнутые макеты, словно формы для гипсовой лепки, изображающие невесть кого, или что: вроде гигантских многоножек, страдающих от разрывных пуль, мистических глубоководных кальмаров-чудовищ, гложащих друг друга, и прочее, прочее. Узкая, солдатская кровать посреди сего кромешного мрака, а на ней стонущее, корчащееся по строго выработанной схеме тело. Это Феномен заставлял «работать боль». Или заклинал свои страхи перед неминуемым. В безвыходной ситуации пришлось Мао выкладывать все начистоту.

– Костная саркома, очаг – поясничный отдел, четвертая стадия. Многочисленные метастазы. Не операбелен, – строго, как на врачебном консилиуме, проговорил главный, когда Николай Иванович очухался немного и смог вернуть себе осмысленный желто-тигриный взгляд. Равнодушные мумии тролля, показное или действительное, как рукой сняло.

– Вы сказали, он болен временно? – отчеканил так, будто готов сей момент растерзать нагрешившего Мао.

– Я сказал, недомогание его временное, – кое-как нашелся с оправданиями главный. – Обычно наш Гений Власьевич ходячий. Пока еще. Но вот как раз сегодня. Очень сильные боли, сами понимаете, диагноз. Вы не беспокойтесь, это не заразно. Хотя и тяжело. Я имею в виду, смотреть, – доктор Олсуфьев еще лопотал что-то необязательное, в надежде, что мумия тролля уберется из этой покойницкой палаты.

Однако Николай Иванович не поспешил выйти вон. Напротив, стоял и смотрел. На противоестественные корчи, на макеты скелетообразных страшилищ, и будто бы... Не могло того быть, но будто бы он радовался. Так, словно нашел сокровище, те самые пресловутые червонцы, жаль, не уверен в подлинности до конца, надо делать пробу, а это время. Но ничего, пусть время, главное – Сезам открылся ему навстречу.

Я тогда еще ничего не понял. И никто бы не понял. Да и откуда нам было знать. А и узнали бы, разве на слово уверовали? Но и сама мумия тролля, засушенный «выблядок» Николай Иванович, тоже не знала ничего. Она только думала, что знала. И это тогда спасло нас всех. Ну, или почти всех.

Наконец, самозванный спонсор хмыкнул довольно и вышел. Мы поспешили за ним. Уже на нижнем этаже он остановился посреди своей и нашей свиты – вспомнил, что забыл. Забыл об антураже. Об официальной причине, якобы сострадательно направившей его к нам. Что-то нужно было сделать, но он не знал что. Мао ему помог.

– Сами видите, уважаемый Николай Иванович. Тянемся изо всех сил. Нам любое лыко в строку, – главный поперхнулся и быстро исправил двусмысленность. – Используем резервы по максимуму, осваиваем средства до рубля. Вот только рубликов тех маловато.

Здесь он обрадовался уже неприкрыто. Мне показалось, чуть было спасибо не сказал Мао за подсказку. Губы его заплясали, пергаментная рука властно рванулась во внутренний карман.

– Заботьтесь, как следует. Ваша миссия благородна, – сказал, и на свет явился золотой зажим, стискивающий в редкозубой пасти зеленую шуршащую пачку толщиной пальца в четыре. Из него в просящую ладонь главного отвалилось много больше половины.

– Вы нас премного выручили. Мы со своей стороны... – жалкий, бедный наш Мао от подступивших слез даже не договорил.

Его и не слушали. Николай Иванович прощаться не стал, вообще не глядя ни на кого больше, прошествовал к выходу. Только бросил коротко своему двуглавному церберу:

– За мной!

Телохранители поспешили распахнуть перед ним монументальную дверь.

– Что это было? – произнес я сакраментальную, расхожую фразу, едва затих рвущий тишину рев моторов.

– Если бы я знал! – вздохнул Мао, но голос его расцветился победными нотками.

– Не к добру оно, – только и сказал дядя Слава. И слова его отгремели, точно высшее пророчество.

Дальше день покатился как обычно. Разве что из полуоткрытого кабинета главного врача Олсуфьева то и дело вырывались на простор победные вопли предводителя команчей:

– По полтора рубля за квадрат! Скидка на опт! Минус работа! Остаток!.. Алло! Алло! Фановые трубы! Сколько нужно? А сколько есть? Куда там испанские! Наши давайте! Пластиковые, говорите?.. Сюда три рублика, если за погонный метр! Это сколько же выйдет? Ага, и на второй этаж хватит, – считал он, конечно, ни на какие не на рубли. Но слово «доллар» мнилось Мао не эстетичным, особенно в нашем заведении. Да и не привык он ничего считать на эти самые доллары.

Я еще подумал, что стоит зайти к нему, если выдастся свободная минутка. Как бы не обсчитали при случае! Главный, понятно, за долгие годы начальствования, нахватался поневоле изрядного хозяйственного опыта, но то был опыт извечного затыкания прорыва плотины неприличным пальцем. С такой кучей денег, да еще «зеленых», Мао, – честно открою секрет, – дела до той поры не имел.

Дежурство мое в целом шло ничего себе. Лабудур мне не слишком досаждал, все переживал приезд спонсора. О свежих рекламных впечатлениях даже не заикнулся. Его можно было понять: реклама что? Ее каждый день по телеку крутят. А тут живой «новый русский», коих Ивашка наблюдал разве в густо сваренном сериальном «мысле». И оттого представлял себе жутковатого Николая Ивановича кем-то, вроде отечественной выделки Робина Гуда. Я не стал разочаровывать его. Зачем? Дурень думкой богатеет. Ко всему прочему, к Лабудуру я был не вполне справедлив. Дурень-то, конечно, он дурень. Но. Целый день хлопотали мы друг подле друга в общей смене, и ни разу, ни единого разу Ивашка не проявил корыстный интерес. Нет, он знал, разумеется, что спонсор оказался щедрый и отвалил многозначную кучку в валюте, тот еще золотарь! Ивашка знал и мечтал. Что! Вот бы хорошо было, если бы устроить во дворе бассейн, непременно отчего-то с русалкой-фонтаном и выложенный черным мрамором, где он сей чуши набрался – тайна двух океанов. Или, к примеру, наладить в лечебнице собственный кинотеатр – на чердаке полно места, он мог бы выучиться на механика и прибирался бы по совместительству. Или прикупить парочку игровых автоматов, лучше про космические войны, пусть «болезные» радуются, (Ивашка всегда говорил «болезные» и никогда «больные», иначе «пациенты»). Он и сам бы не отказался, хотя и не любит пустодельничать, пробовал однажды подстрелить из электрического ружья кораблик на жетон, дело в большом городе было, в гостиничном вестибюле, но не удалось до конца – швейцар его попер в шею. И ни словечка о премиальных или наградных, или, что неплохо бы хоть малую часть зажать и поделить, это притом, что у Лабудура всегда на уме то же, что на языке, будто у хронически пьяного. Мечты его были от начала до конца пустые и неисполнимые, но в целом какие-то наивно светлые, и оттого я сдерживал невольное раздражение. Чего греха таить, у меня и то промелькнула мысль – может чего перепадет за усердную и скверно вознаграждаемую службу. У меня мелькнула. А у Ивашки – нет.

К ночи, задолбавшись от трудов праведных, я расположился в процедурной, раскладывал среди мутно поблескивающих тушек автоклавов пасьянс «косынку». Самое прохладное место, не считая морозильной камеры, а жаркая духота к ночи добрала пыточной силы. Я давно скинул прочь халат, стянул пропотевшую майку, долой – мягкие, открытые полукеды, затолкал в них и натруженные носки, чтоб не воняли. Сидел с голым торсом и пятками, страдал над «косынкой». Лабудур, наевшись впечатлений и миражей, похрапывал в кулак на скользкой, укрытой желтой клеенкой кушетке. Ему что жара, что холод, что рай, что ад: будто деревянный, и оттого спокойный – дрых безмятежно. А у меня вдобавок не сходилось, как назло. На что бы ни загадал, пусто-пусто. Загадывал я вещи значимые, и потому мне было обидно, порой и тревожно. Как истовый материалист, не верил я во всякую мистическую чепуху, но почитал без

меры теорию вероятностей. Согласно которой, несложный пасьянс давным-давно должен был сойтись. Однако никак не выходило. Мне даже стало интересно, и я немного вошел в азарт. Отклонения от нормы, описанной математически, меня вдруг стали забавлять. Не помню сейчас, сколько я так промаялся дурью, час или два, но от «косынки» меня отвлек неположенный звук у приоткрытой двери. Словно кто-то звал меня шепотом по имени. Кому бы развлекаться в столь позднее время? Верочка, и та ушла домой. Да и не стала бы она окликать, скорее провалилась бы в чулан со стыда.

Я обернулся, что было естественно в тех обстоятельствах, и увидел того, кого увидеть совсем никак не ожидал. Круглые, совиные глаза в черном проеме двери, один зеленый, другой голубой. Мотя. Он-то что здесь делал? Пациенты наши были воспитаны в строгости, и по ночам не шастали, хотя никто их насильно не запирали. Однако все равно почитали режим, да и персоналу выказывали уважение. Тем более Мотя. Он вообще не любил ночь и темноту, оттого-то всегда спал у окна, где жестяной навесной фонарь, и даже не позволял до конца задерживать многослойную марлеву ю штору. Я смёл безнадёжные карты в горсть и откинул колоду на угол стола. Потом потихоньку встал и сделал Моте знак – мол, сейчас иду.

Он прильнул к полотну двери, словно укpывшись за ней, держался за ручку-ушко и, как мне показалось, мелкой сыпью дрожал.

– Что вы, Мотя? Не надо бояться, – я попытался успокоить его, – страшные сны случаются от духоты, а сегодня парит. Я дам вам успокоительное. – Сам прикидывал в уме, что лучше? Таблетка феназепама или обойтись настойкой валерианового корня? – Потом провожу вас в палату.

– Не надо успокоительное, – Мотя ответил так брззгливо и резко, как никогда и ни с кем не говорил до этого. По крайней мере, на моей памяти. – Я пришел спросить.

Здорово! А главное, неожиданно. И то, признаться, когда это Мотю требовалось успокаивать? Кое-кого после общения с ним – это да. Но чтобы самого Мотю! Наверное, даже Ганди не бывал настолько спокоен, как Мотя в своем обычном душевном состоянии.

– Хорошо, спрашивайте, – я понял в ту самую минуту, что пришел Мотя именно ко мне. И не просто пришел. Но, не побоявшись крайне неприятной ему ночной коридорной темноты. Значит, имел к тому вескую причину. – Спрашивайте, – повторил я, будто приглашал к интимной откровенности.

– Тот мертвый человек, кто он такой?

Мотя не уточнил, но я и сам догадался, о ком идет речь. Все же, для верности переспросил:

– Николай Иванович? – надо же, «мертвый человек»! Однако, в яблочко. Не хуже мумии тролля, выдуманной мной.

– Ну, может быть. Тот, что смотрел в столовой. Николай Иванович? – словно бы засомневался Мотя.

– Да, его зовут Николай Иванович. Я больше ничего о нем не знаю, – честно признался я. Недоумевая, какое Моте до всего этого дело?

– Так вы узнайте, – он не попросил, он словно бы приказал мне. Словно бы имел на это непреложное и безусловное право.

– Почему я? – пришлось ответить донельзя снисходительно-миролюбиво, и я отчетливо понял, что впервые обратился к Моте, как в действительности к умалишенному.

– Потому что я не могу, – был мне весь сказ.

Затем он повернулся и пошел. Дергаясь на ходу, как будто шарик перекатывался в мешковатой, фланелевой пижаме. Держал короткие ручки вытянутыми в стороны, точно он чурался сходящихся в длинной коридорной перспективе стен, могущих вдруг его придавить.

– Да постойте же, Мотя! – я сам не знал, зачем окликнул его. Ведь это был бред. Полный бред. О котором я завтра же собирался доложить с утра пораньше главному, пусть обратит внимание и, если надо, примет надлежащие меры. – Зачем узнавать? Вы не ответили мне?

Он обернулся, голос его, обычно напоминавший воробьиное чириканье, отразился эхом и оттого сделался потусторонним:

– Вы не спрашивали: зачем? Вы спросили: почему Я?

– Так, зачем? – я произнес это шепотом, духу не хватило иначе.

– Затем, что быть беде, – он сказал это так просто. А я припомнил тут же пророчество дяди Вали, в иных выражениях, но схожее по смыслу. – И Геня вашего приберите в укромное место. На него может быть охота.

– Что? Что?! Какая охота? В каком смысле, охота? – я зашлепал босыми подошвами по щербатому линолеуму, меня будто несло навстречу Моте, будто я был белый кролик, спешащий в пасть к удаву.

– Охота в переносном значении слова, – ответил недовольно Мотя, как если бы сетовал на мою тупость. – Когда одно человеческое существо пытается добыть другое, преследуя личную цель и не считаясь с личной целью того, кого оно добывает.

– Замысловато, – признался я, уже подбравшись к Моте вплотную. И зашептал, не ради конспирации, кому было нас слушать? Но скорее от накатившей жути. – Подумайте сами, Мотя, для чего мертвому Николаю Ивановичу добывать Феномена, то бишь, тяжело больного пациента Геня Власевича Лаврищева? На кой он ему сдался? Для опытов, что ли?

– Я не знаю, – сказал Мотя, и сказал честно, я почувствовал это. Общепринятые понятия «правда» и «ложь» были свойственны ему, как сороке понятие о собственности, и лежали где-то вне его сознательной сферы. – Чтобы узнать, надо выяснить, кто такой сам мертвый человек. Я объяснял вам. Иначе никак. Иначе быть беде.

Он повторил настойчиво и с нажимом именно на последнем слове. Как если Мотя хотел подчеркнуть – быть непременно беде и ничему иному, и чтобы я ни в коем случае не обольщался.

– Почему вы обратились ко мне? Почему не к доктору Олсуфьеву? – я спрашивал не для порядка. Придется сознаться и мне, как на духу. Я вдруг испугался. Вдруг поверил Моте и так же вдруг не пожелал иметь с происходящим никакой связи. Пусть мухи и варенье будут далеки друг от друга. Под вареньем я разумел себя.

– Потому что вы из понимающих целое, – это Мотя произнес с куда большим энтузиазмом. Мне показалось, ему приятно было говорить на подобную тему, хотя он явно не собирался договаривать до конца.

– Из понимающих целое, – отозвался я отголоском. А что еще тут было сказать?

– Да. Так. Вы углублялись в то, что здесь называют философической наукой, – подтвердил Мотя.

А мне в тот момент помстилось, что я разговариваю то ли с инопланетянином, то ли с пришельцем из чужого мира. Но было кое-что еще. Определенно, на время нашего разговора Мотя впервые отбросил свою привычную манеру «вундеркинда-недоумка» – я понял внезапно, что давалось ему это прежде с трудом, что приходилось притворяться и не позволять себе свободы, отказывать своему естеству в проявлении. И Мотя больше этого делать не захотел. По крайней мере, со мной. Странно все стало, и чем дальше, тем больше мне делалось не по себе.

Я проводил его заботливо до самой палаты – четвертый номер, и до кровати – у окна, за распахнутой настезь рамой жестяной фонарь. Подождал, пока он улегся – на бочок, стиснул кулачки, но еще не зажмурил крепко совиные глазища. Потому что Мотя опять спросил и не без настойчивости:

– Вы узнаете?

– Да. Я не могу обещать, но постараюсь, – я совсем не хотел, догадываясь уже, что деваться мне абсолютно некуда.

– Не надо обещать, надо просто узнать, – голубой и следом зеленый глаз закрылись.

Надо! Легко сказать! Пока я шлепал обратно до процедурной, определил ясно одну вещь. И не определил даже, но точно увидел без прикрас. Мотя прав и прав во всем. Узнать надо, и это не к добру. Проклятые «зеленые» всем здесь застили, замылили трезвость взора. Трюк злонамеренного и очень прозорливого фокусника из тех, кто создают иллюзии. Ап! В одной руке шляпа. Ап! И пока вы, разинув рты, наблюдаете рой вылетающих бабочек, у вас тащат часы и кошелек. Воровской приемчик, давний, избитый и всегда действенный.

Надо понять про нас еще одно обстоятельство, хорошо видное со стороны, но про которое мы как-то сообщая в тот день забыли. Никогда прежде никакие щедрые жертвователи не жаловали к нам в Бурьяновск и конкретно в стационар № 3,14... в периоде. В стационар особенно. Потому, с какой стати? Заведение мы ведомственное, чуть ли не секретное, открытого адреса и расчетного счета не имеем, даже не из самых бедствующих. Не детский приют и не дом престарелых. По-хорошему, нас давно прикрыть бы пора, но видно руки не дошли поначалу, а теперь уж все переменялось. Головной службе мы не в тягость, опять же, вдруг и пригодится с расчетом на будущее. Пригодится, пригодится, как же не пригодится! Подсказывал мне здравый смысл. Психушка для неугомонных всегда пригодится. Такова наша специфика, а отнюдь не загадочный русский дух, который, по сути, не более, как персонаж мифологии.

То-то и оно. А тут тепленький спонсор. Садко – богатый гость. Которого никто не звал. Мне ли не представлять себе усилий, которые нужны, дабы заманить хоть плохонького благодетеля. В нашу-то беспросветную глухомань! Тут пока набегаетесь! Никаких ноженек не хватит! Сколько бедолага главный выбивал перевязочные вату и бинты, заметьте, положенные нам бесплатно? Обычные йод и зеленку вымаливал просроченные с соседнего склада воинской части. Да если бы не Мао, нам бы и мыла обыкновенного, хозяйственного не видать! А у нас, пожалуйста, – приличное земляничное, еще из советских запасов. Где Марксэн Аверьянович его раздобыл? Места знать надо! Конечно, не «камей-натюрель», будь оно неладно, но тоже кое-что.

Так, спрашивается, за каким чертом в нашу пыльную глубинку приперся этот гусь? Что ему, слава какая от его доброхотства? У нас не жертвы репрессий сидят. А действительно люди с некоторыми психическими аномалиями находятся на карантине в изоляции. Сами себя изолировали от таких, как мертвая мумия тролля.

Потом, пожертвование его было чересчур щедрое. Персонажам сорта Николай Ивановича подать старушке на хлебную буханку – уже отпущение грехов на год вперед, как они считают про себя. Да еще им пристало любоваться с изощренным нарциссизмом: вот я какой, сусально-сахарный, спас бабушку от голодной смерти. А завтра пусть другой спасает, мое дело не ждет – пока зеваешь, кто иной из-под носа чужое стащит. У той же бабульки на хлеб. Поэтому не жертвуют мумии тролля пригоршнями долларов. Не бывает таково. И никогда не будет. Чтоб в первый приезд, по первому требованию! Не забивать баки пустыми обещаниями, не отбояриваться заманчивыми надеждами, а в итоге – три копейки, да еще за них накланяться. Нет, мертвый человек, мумифицированный Николай Иванович, дал сразу. Не дал даже, отвалил... Ба! Что же я такое несу! Осадил я в тот же миг себя. Не отвалил он, но заплатил. А поскольку подобные ему нипочем не переплачивают даже за редкостный товар – отсюда следует: то, что оно искал, стоило много больше. Настолько, что деньги для мумии не имели уже никакого значения. Он и не осознавал до конца, сколько отсыпал! Я вспомнил, с каким выражением мертвого лица жертвовал Николай Иванович, и сразу уверился, что мыслил в верном направлении. Так ищут на грош пятаков. И видимо, свои пятаки или червонцы он нашел. У нас нашел. В кои-то веки! Мощнейшая на одной шестой части суши каверзная корпорация не нашла, а он нашел! Вопрос, что?

Как велел Мотя? (Уже и велел. Но что делать, если аномальные на сей раз оказались прозорливей нормальных?) «Гения-то вашего приберите!» Мол, подальше положишь, поближе возьмешь. На этой мысли я вообще перестал понимать что-либо, теперь-то, по прошествии, можно сознаться. Со всем своим краснодипломным университетским, перестал понимать. Хоть режьте меня! Так я кричал про себя. Я скорее готов был поверить, что некто с тараканьим пастбищем в голове мог заинтересоваться на худой конец юродствующим Ивашкой Лабудуром, чем особой Феномена. Нет и не может быть в нем никакого интереса. А если может, то значит, законы материального мира писаны неправильно, и мы все здесь невежественные кретины до последнего, а правы бабки-знахарки и эзотерики-колдуны. Или не правы и законы, и бабки, все же хватило меня, чтобы сообразить, но происходит нечто, разумом пока необъяснимое или объяснимое не до логического конца. Однако чтобы понять, о чем я веду сей час речь, придется мне, насколько уж смогу, рассказать историю вторую. Персональную. О Лаврищеве Гении Власьевиче, по прозвищу Феномен. Назову ее так.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ДУХА

Началось все тривиальнейшим образом. Двадцать лет назад. Или около того. Короче, задолго до моего появления в Бурьяновске. Он служил прежде доцентом в химико-технологическом, занимался какими-то полимерами, вроде бы жидкокристаллическими. В общем, чем-то для того времени обалденно передовым. Он не был гением, в буквальном значении, просто такое имя. Данное, то ли претенциозными родителями, то ли безграмотными, позарившимися на красивое словцо. А может, неумными шутниками. Гений Власьевич, да еще Лаврищев. С точки зрения аллитераций звучит, может и неплохо, но если вдуматься, то ребенка еще в детстве запрограммировали неудачником-параноиком. Представьте себе, что вас самих выкликают по фамилии Лаврищев где-нибудь в средней школе. Учитель или тренер в спортивной секции, или инспектор по делам несовершеннолетних (тоже может быть, ничего удивительного). Он вам – Лаврищев. А за спиной хулиганствующий приятель – Дрищев! И пошло-поехало. Плюс неадекватное имечко, получилось бы что-то вроде: Геня Дрищев! Шикарно. Особенно для раннего подросткового суицида. Про девушек и танцы сразу можно позабыть. С таким танцевать не пойдут. Но если еще очки и шаркающая походочка, то мальчик для битья в полный рост перед вами.

Потом вообразите, поступили вы в ВУЗ – еще бы не поступили, за одно ваше прошлое полагалось в виде премии протирать штаны в «ботаническом» питомнике. Желательно по теоретической части. И вот вас уже при всех, при дошлых студентах и хихикающих студенточках, именуют Гений Власьевич. Кондрашка хватает, да и только. То ли от сохи, то ли от «швондеров»: из интеллигентствующей публики с таким похабным имечком не выходят. А если вы ко всему прочему не гений? Звучит и вовсе как издевательство, особенно в ученой среде. Разве закрепиться в профсоюзных деятелях, но и оно сомнительно, при тогдашней конкуренции вокруг скудных благ мирских.

Любой бы спятил. И я его очень хорошо понимаю. Однако наш Геня Дрищев не спятил, совсем наоборот. Он как бы заиклился. Семьи у него не было и не предвиделось в обозримой перспективе, зато светила докторская, а за ней, чем черт не шутит, к пенсии и член-корреспондентское избрание. Потолок не из самых низких. Тем более для не-гения. Хотя доцент Лаврищев оказался не без талантов. Да и куда ему было деваться, бедняге? Он умел выворачивать проблемы и задачи наизнанку. Насколько я понял из краткого экскурса в историю Феномена, услышанную однажды из уст нашего главного. То есть, он не умел их ставить, совершенно, не умел зреть в корень, обобщать в теорию и пророчить генеральную линию развития. И уж конечно, не парил среди светил. Но он обладал редкостным даром взять уже сформулирован-

ную проблему и добавить к ней такое решение, которое не только не имело ни малейшего отношения к сути, но и перекраивало постановку вопроса совершенно на иной лад. Скоро вы поймете из собственного примера жизни Феномена, что я имею в виду.

Его стали чураться. Коллеги и младшие преподаватели. Им не нравился его мир наизнанку. С которым непонятно, что делать. Сначала пустили слух, потом с леденцовой улыбкой потребовали справку. Потом было освидетельствование, и что-то там такое он им сказал, в своей манере сальто-мортале и с ног на голову, то ли о научном коммунизме, то ли о социалистическом обществе. Ну и тесты, само собой. Как я уяснил себе, тесты еще сошли бы ему с рук, но вот социалистическое общество пожелало остаться в неприкосновенности. Даже для гениев. Он был беспартийный и вообще какой-то совершенно безбилетный, поэтому с ним поступили мягко. Сослали в наш стационар. С концами.

Мао нравилось слушать его речи. Мне они казались околесицей, но только казались. Не стану оправдываться, многого я не знал, как не знаю и сейчас. Органическая химия не моя стезя. Как, впрочем, и любая другая. А Гений Власевич именно ей и занялся. Насколько это можно было делать в стационаре для душевнобольных. Примитивные реактивы, наивные до детсадовости опыты на себе, да и какие опыты – главный ничего страшнее английской соли Феномену в руки не давал. Зато и новое его прозвище прижилось. От любимой его присказки – все в реальности есть феномен духа и его превращение. Вот превращениями он как раз и увлекался.

Пока не заболел. Саркомой Юинга, очаг – поясничный отдел позвоночника. Несколько позновато по возрасту, но известно много исключений. Мао тогда сразу же принялся хлопотать о больнице. Он был привязан к Феномену, от души желал его спасти. Но Гений Власевич наотрез отказался. Никуда он не поедет и точка. Потому что, никакое лечение ему не нужно. Он вообще не болен, а то, что с ним происходит – это его же собственных усилий плод. После такого заявления даже сердобольная Верочка, видевшая во всяком безумце святого, перестала сомневаться в ненормальности Феномена. Еще бы, покажите мне хоть одного здраво мыслящего человека, который добровольно бы захотел поболеть некоторое время костной саркомой. Это даже не сюжет для фильма ужасов, потому что в подобное никто не поверит ни на единую секунду, а только смеяться станет неловкой выдумке продюсера.

Мао не знал до конца, как идентифицировать его психическое отклонение. На шизофрению не похоже, паранойя – этого и близко не было, Феномен ничего не страшился, наоборот, был мужествен, как Гагарин. Навязчивая идея – ну, разве так. Может, защитный механизм, психика – она не железная. Сначала имечко, потом пропащая жизнь, а в конце жирная черная точка – костная саркома. Мао решил, хочет Феномен умереть в своей постели – а как иначе, стационар наш ему уже стал как дом родной, – пожалуйста. Он противиться не будет. Из персонала никто тоже не возражал, язык не повернулся. Разве один Кудря, мой давний напарник, сказал, что ему, мол, не по себе. А кому по себе? По себе – это в коммерческой пластической хирургии, и то не всегда.

Но это оказалось только начало. Заявление Феномена – он, дескать, болен по собственному хотению. Дальше – больше. Гений Власевич стал осуществлять какие-то странные манипуляции. Саркома его неизбежно и довольно быстро переходила из стадии в стадию, щедро давала метастазы, он следовал за ней. Спокойный, будто индеец ирокез у пыточного столба. Перво-наперво Феномен наотрез отказался от обезболивающих. Не то, чтобы в нашем богоспасаемом заведении имелся щедрый выбор, но уж морфин ему полагался, и был бы выдан по первому требованию. Однако Феномен терпел. И не просто терпел, но классифицировал эту боль, отмечал каждый взятый ею рубеж, и вроде бы радовался. Рисовал свои отвратительные картинки, чертил загадочные схемы. Мы ему в этом потакали – ничего не поделаешь, здесь уже явное психическое отклонение. Хотя порой смотреть на его судороги и корчи было ужасно. Как и на то, сколь мужественно Феномен переносил страдание. Все это время он следовал

диете. Не менее бредовой, чем его упражнения для «направления болевого потока энергии». Он почти не пил жидкости, даже от сердечно любимого чая с хвойным настоем отказался. Что-то мутное производил в своих пробирках, Мао не слишком беспокоился – какое там беспокойство: третья, затем четвертая стадия! Тут, чем скорее, тем лучше. Для всех. К тому же ядам у нас неоткуда было взяться, мы психушка при соответствующей организации, а не ее секретная лаборатория. Феномен принимал невероятное количество кальция, столько, что у нормального человека давно бы выросли рога без всякой неудачной женитьбы. Еще соль и много картофеля, непременно сырого. К попытке болью Феномен словно бы добавлял другую. Попытку едой. Как будто ему первой было мало!

Не подумайте, что его не пытались утешать. Еще как пытались. Но надо понимать одну вещь. Навязчивая идея его была надежно продумана, не подкопаться. В нашем стационаре такое вообще не редкость, однако, никто ведь не проверял подобные невозможные фантазии на практике. А вот Феномен именно это и затеял.

«Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников». Бывают, с поэтом не поспоришь. Но могут ли они быть у явных сумасшедших с костной саркомой? Я не верил Гению Власьевичу, я вообще никогда не смешивал науку и веру. Но какие-то, невидимые крылья у него точно проросли. Версия Феномена о себе самом была следующей.

Рак на самом деле не болезнь. Но лишь мутационная форма перехода. Причем мутация здесь не генетическая – феноменальная. Человек – существо незаконченное и несовершенное. И ему дана возможность преобразиться. Для чего необходимы знания, воля и изрядная доля терпеливого мужества. Все это у Гения Власьевича было. Главное, не перечить природе, но сотрудничать с ней. Это безумно больно, кропотливо старательно и требует напряжения именно духа. Который, по его представлению, очень даже вещественен. Тут Феномен всегда делал замечание-оговорку: вещественен – не значит грубо материален. Дух существует и представляет собой субстанцию, распространенную во времени. В обычном состоянии он как бы скован, отравлен снами и воображаемыми фантомами, и не готов к преобразованию и полету. В общем, не видит мир, как лестницу. Именно лестницу, по которой он должен подняться к совершенству. Но для этого он вынужден вернуться в мир, только путем создания себе новой оболочки, более подходящей в смысле перемещений и превращений. Тогда дух не будет больше заперт в одном, временном, измерении, но окажется сразу в их бесчисленном пространственном множестве, и станет подлинным господином любого физического тела, а не его пленником. И затем его ждет свобода и счастье. С последним утверждением он не был чересчур категоричен, ибо Гений Власьевич, по его собственному признанию, не слишком представлял себе определение счастья. Что же касается свободы, то ее он понимал риторически, как расширение вселенского кругозора личности.

В общем и целом, его болезнь, его костная саркома, и была способом как раз такого мутационного перехода. Где воля и намерение играли главенствующую роль. Переход этот был страшен, но не пугал Феномена – любое рождение есть страдание и ужас нового бытия. Так он считал. Он словно бы казался самому себе первопроходцем, ступившем на непаханую целину, таким Луи Пастером, наобум ставящем рискованный эксперимент над собственной плотью ради... Ради, собственно, чего? Вряд ли Гений Власьевич имел в виду заботу о человечестве. Он его попросту игнорировал, как и человечество его. Тут было иное. Возвращение заблудившегося духа на его истинную, прямую дорогу, которую он сочинил себе. Потому что это была дорога на одного.

Я порой слушал его и задавал вопросы, но без специального образования понимал с пятое на десятое, да и спрашивал больше от праздного любопытства: смешно и антинаучно, бредни, бредни! Бредни сумасшедшего. Хотя и забавные отчасти. Если человек с костной саркомой вообще может быть забавен. Он ждал преображения, как Иисус на горе Фавор. Он должен был стать в результате своих страданий кем-то другим, иным существом, кем – он не представлял

сам. Но как он ждал! Это видеть надо было. Ни тени страха, он не то, чтобы верил, он вроде как знал – финалом всему выйдет отнюдь не смерть, не летальный исход и скромные похороны. Он говорил тем, кто хотел его слушать. Патологические, раковые клетки в действительности несут другую жизнь, причем сколько разнообразных видов этих клеток, столько и форм самой новой жизни – в зависимости от того, какой именно орган затронут первоначально процессом, в качестве отправной точки приложения мутационных сил. Надо только набраться мужества и отдаться их потоку, без сопротивления, но не бездумно, а создать порядок из хаоса – он очень уважал Пригожина. Тут надо понимать, с чем имеешь дело. Иначе погибнешь в два счета. Словно управляешь сверхсложной машиной-трансформером, которая меняется по ходу движения. То есть выехал ты на «горбатом запоре», а прибыл в пункт назначения на тюнингованном «хаммере». Только сборку ту как бы сам осуществляешь по дороге из подручных средств, и не дай тебе бог ошибиться! Потому что исправить будет уже нельзя. Но если сделать все, как нужно, разрушительная стихия явит себя во всей упорядоченной красе, ибо нет на свете ничего лишнего, односторонне гиблого, и то, что кажется несоразмерным в начале, оказывается стройным и оформленным в конце. «Формозус» – было любимое латинское выражение Феномена. Что означало как раз: прекрасно-изящный, в смысле его совершенной формы.

Вот такой человек, Феномен, заинтересовал мертвого, бесфамильного Николая Ивановича. Неужто, болен сам? И порыв его к нам – всплеск последней надежды? А мы спровадили еще одного безнадежно больного, да притом радовались, подлецы? Нет, не подходит. Я видел безнадежно больных, не часто, но приходилось. Один из них, близкий мне человек, упокоился от мучений на моих руках. В этом заключалась другая причина, почему я не доверял Феномену. Потому что, рак – это не смешно. Мой дед, отец моей матери, у него не было саркомы, но злокачественная опухоль пищевода – пропан бутана не полезительней. Ужасно оказалось даже не то, что обожаемый мной, кроткий старик умер практически голодной смертью, и без того полвека не ел досыта, это что же, вознаграждение по заслугам от сил небесных? Ужасным оказалось совсем, совсем не это. Я, шестнадцатилетний мальчишка, из школы домой, и все сидел подле него, а дед держал меня за руку. Нет, не так. Он держался за мою руку. Как погибающий в космосе за последний глоток кислорода. А однажды он попросил. Истово и жалобно: «Спаси меня! Спаси!». Он знал, что я ребенок и ничего не могу, но просить ему было больше некого. Вот где притаился настоящий ужас и настиг меня. Мать слышала все это, дед погибал, она не могла позволить, чтобы я погиб вместе с ним. Меня услали в дальнюю станицу, Выселки, к двоюродной тетке. Со скандалом услали. И мне всю мою жизнь было стыдно, что я уехал, хотя, что я бы поделал против материнских слез? Кто знает, тот знает, что это такое.

Но я сочувствовал и попыткам Феномена. Потому что, в станице свалил почти такого же дурака. Я думал, неужели никто живой на этом свете не может помочь деду? На церковный ладан я уже тогда не рассчитывал, и не оттого, что носил комсомольский значок и вообще числился в активистах. Глупо это – получить всё, лишь стоя на коленях и твердя слова, которых не понимает до конца никто, потому что писаны они вовсе не для понятия, но для затемнения разума. Однако я был юноша начитанный, и я сообразил. Надо попросить инопланетян. Вдруг они и в самом деле есть, а я упускаю шанс, не свой, деда. Я даже точно представлял себе, как именно мне поступить. По общепринятой в те времена версии фантастических романов, ждать контакта требовалось непременно в местах уединенных. В лесу, например, или на болоте. Поскольку, никакого леса в нашей степи не было и не предвиделось, равно как и болота – вы сами понимаете, – я нашел подходящую замену. Забрел на подсолнуховое поле, так далеко, как это оказалось вообще возможно. Под высоковольтную линию передач – видимо, подсолнухам было нипочем. Что делать дальше, я не имел представления. Сначала я позвал тихонько. Потом закричал в голос. Потом догадался, все это ерунда, а надо думать со старанием и полным напряжением мысли. Думал я минут двадцать: что согласен на любые условия, пусть забирают меня на опыты, я не против, что, если вылечат деда, я никогда не попрошу за себя, сдохну от

легочной чумы или водянки во цвете лет, но не попрошу. Еще с пионерским накалом поминал гуманное сострадание и завоевания добра. Ясное дело, никто ко мне не прилетел, кроме пары пчелиных трутней на волнах ароматного дуновения с местной свинофермы. И я опять остался со стыдом, на долгое время, считал себя виноватым, что дед все же умер, а я не дозволялся этих самых инопланетян, ни одной тарелки не дозволялся под гудящими равнодушными тысячами вольт. Значит, плохо звал, и плохо любил. Очень нескоро я понял: любовь – это слишком мало, чтобы обмануть смерть, и слишком много, чтобы жить после счастливо. И еще. Боги не принимают предложенной им жертвы, потому что никаких богов нет. Как, впрочем, и добреньких самаритян-инопланетян. Что было на тот момент для меня одно и то же.

Я сбежал от тетки и деревенского покоя, который не дался мне. Вернулся как раз к концу. Дабы узнать: настоящая смерть не имеет ничего общего с книжным ее вариантом. Никто не произносит последних слов, никто не завещает жизненное напутствие, никто не покидает свет с миром в душе. После всего, что я увидел, я хорошо усвоил: только так и может быть, затем, что противоположное – сказки для идиотов. Это – адское мучение до последнего вздоха борющегося за себя бытия, потому что в тот момент не за что ему больше бороться. Нет ничего, что имело бы равное последнему вздоху значение. Это – тоска и безнадежность, и плевать умирающему на рай или ад, даже если во здравии он думал иначе. Это и есть конец. В тот самый день я сделался убежденным и пламенным атеистом-материалистом, убежденным не словесно, но на собственном опыте, который суть единственно подлинное подтверждение. И потому в тот же день я несказанно полюбил жизнь, ибо истинно любить и ценить ее может только законченный материалист. Которому не на что кроме нее рассчитывать.

Николай Иванович не был умирающим. Именно потому, что полностью располагался в настоящем, и хотел чего-то другого, но точно не продления этого настоящего, которое и без того было его собственностью. В нем отсутствовала обреченность, если хотите. Больные смертельно таково не ходят. В их лицах отражается спешащая опрометью жизнь, а не мертвенный покой. Но, тем не менее, насытый покой. Который желал бы стать еще избыточней и спокойней. Умирающие, те не копят ничего и задаром. Только смотрят щенячьими глазами, и сильные мира сего, и пропащие бродяжки: не поможет ли кто? Хоть чем-нибудь. Среди них нет миллионеров и власть имущих, все они суть испуганные дети, которых покинули безжалостные взрослые на произвол судьбы.

Все-таки, чего же он хотел, окаянный спонсор и мумия тролля? И почему Феномена надо было спасать от него? И как это я так вдруг взял да и поверил Моте? Я, медбрат, поверил подопечному пациенту с одного слова, и неужели, вправду, отправлюсь выяснять, откуда взялся этот Николай Иванович? И куда я отправлюсь? Где меня ждут и кому я нужен? Охота. Мотя сказал: охота. Когда один человек хочет добыть другого. Но зачем добывать? Феномен наш – Неуловимый Джо, за которым никто не гонится. Кстати, и не гнался никогда. Вот он, бери его тепленьким. Феномена можно уговорить на переезд, если наобещать неприкосновенность его опытам, выкрасть, наконец, только для чего это надо? Он не жилец, с первого взгляда видно. Не мог же, в самом деле, прожженный деляга Николай Иванович уверовать в «науку» Феномена? Да и как бы он узнал? Будто наш главный кричал о своем рехнувшемся пациенте на каждом углу или выпустил сенсационную публикацию. Гений Власевич даже на учете у онколога не состоял. Потому как, в Бурьяновске таковых не имелось. Единственный рентгеновский снимок и тот был сделан на стареньком аппарате времен юности профессора Боткина в амбулатории при горшечной фабричке. Там нечего было гадать или просить о консультации, с первой секунды все нашему Мао стало ясно. Плюс назойливая лихорадка и мощная потеря живого веса. Написал заключение, чтобы после не случилось придинок со стороны участкового лейтенанта Пешеходникова. Кому какая забота, от чего помер псих не первой свежести? Лишь бы документ подходящий подшить в нужное место. Всем спокойней.

* * *

Лидку я потом не встречал суток примерно трое. Точнее, до вечера понедельника. А понедельник, как известно, день тяжелый. Я вышел в свою обычную смену согласно графику, а и без графика бы вышел тоже. Во-первых, идти в Бурьяновске мне все равно было особенно некуда, ни семьи, ни близких друзей, стационар, по сути, являлся мне домом. А во-вторых, это считался последний понедельник месяца, что означало – «поповское нашествие». Что сие такое и с чем его едят? Ба! Дешевый балаган вкупе с корыстным занудством.

Конечно, в Бурьяновске стояла своя церковка. Ее построили давно, еще до того, как небогатое сельцо преобразилось в поселок городского типа. Просто стояла и все. Корявая, маленькая, грошовая. Ее нельзя было занять ни под склад, ни под клуб, она бы просто не выдержала, развалилась на части. Никакой художественной ценности тоже не имела, квадратная коробка дешевого красного кирпича, таких полным-полно в Новороссии. Может и владела когда парой приبلудных икон, но о них давно ни слуху ни духу.

В начале Мутного Времени, когда стали возобновляться заброшенные приходы, вспомнили и о Бурьяновской инвалидке. Подлатали, подкрасили, подперли, подчистили. И в ней воцарился на хлебах попик. Душный клоп и закаленный алкаш, с целым выводком селедочных, золотушных детишек. Вороватых, хитрых и прилипчивых. Попа звали отец Паисий, был он в чине какого-то там дьякона, не велика птица, но вреда от него хватало, поболее, чем от флорентийского Савонаролы. Ходячая чума и враль, склочная зараза, по самую макушку напичканный дремучим невежественным благочестием. Еще и набитый дурак, к тому же. Нечесанные полуседые патлы, не разберешь, где грива, где борода, дошлые, слащавые подгнившие глазки – нет, нет, да и проскользнет завистливое злорадство, вечно мокрые губы в пузырящейся слюне, и противный кислый запах, будто носил он не рясу – хлопок на полиэстере, но плохо выделанную овчинную шкуру. Ходил он мелкой, семенящей походкой, одновременно загребая левой ногой, однако головы не склонял ни в смирении, ни по обыкновению, но держал так, будто он тут, в Бурьяновске, первый после бога. Многие по той же дурости верили в это. И не только старики.

Отец Паисий, словно червь в лежалый сыр, ввинтился в здешнюю жизнь. Где пролез, кому польстил, кого запугал, опутал и оплел. Я не то чтобы ненавидел его, ненавидят равного, и вообще, ненависть – это чистое чувство. Но и спуску не давал. А главное не открывал ему возможности выставить себя праведным страдальцем за народ, по крайней мере, в пределах нашего стационара. Именно поэтому отец Паисий сел мне, что называется, на хвост.

По правде сказать, на его убогие проповеди поддавались разве что Верочка и Дарья Семеновна, тоже сестра из женского отделения, ну, иногда повариха Тоня Маркова, вечно вздыхающая и хUDEЮЩАЯ толстуха. Остальные по большей части вежливо слушали, такое время, что без поповщины никуда. Мао, пожалуй, и опасался. Но вот, к примеру, Ивашка Лабудур отца Паисия на дух не переносил, однако, поделаться ничем не мог, в отличие от меня. Потому что, к церковному обычаю склонялся, в общем, положительно, и лишь к персонально к отцу Паисию – отрицательно. Ивашка словно бы не мог взять в толк: каким образом святое дело духовного народного просвещения доверили этакой образине. Я пытался донести до него простую мысль – духовное просвещение в последнюю очередь задача нынешнего священства, все это такой же дикий бизнес-план, что и остальное прочее в нашей «свободной» жизни, и как раз отец Паисий, вымогатель и стервец, явление вполне нормальное. Но Лабудур верил в спасительную миссию церкви также истово, как и в пресловутую рекламу. Хорошо еще, что не верил отцу Паисию. Все же у Ивашки было верное внутреннее чутье на обычное человеческое добро и его противоположность. Если бы он ко всему прочему умел бы с таким редким врожденным качеством разумно обращаться!

Напарник мой Кудря Вешкин по сему поводу неизменно твердил мне примерно следующее: «Растудить его, попа, так и эдак, через коромысло! Не тронь и вонять не будет». И сам не трогал. Вовсе не из боязни, но скорее от брезгливости. Покорно слушал гнусавый треп, дожидаясь подходящего случая, чтобы сбежать подальше, хотя бы и в огород, там всегда находилось срочное дело.

А вот Ольга Лазаревна попа привечала, отчего не раз случались у нее с Мао семейные, корректно-интеллигентные разногласия. Привечала оттого, что жалела. Не отца Паисия, конечно, но его детишек, которые ведь не виноваты. Чем отец Паисий пользовался нагло и отчаянно. А что до детишек, его же собственная старшая дочка Аришка, сопливая пятнадцатилетняя второгодница, обзывала дорогого родителя не иначе, как «штопаным гондоном», и это, заметьте, прилюдно. Отец Паисий нисколько не обижался, а как бы наоборот, рассказывал о том с удовольствием первому встречному, дескать, какую ношу он страстотерпно несет в смирении, и не сетует. И наживал дополнительный капитал.

Наш стационар, в отличие от большей части исконно поселкового населения, таким образом, оказался вроде как осажденной крепостью. Последним форпостом, который отцу Паисию не удавалось безоговорочно взять. Ни прямым штурмом, ни при помощи лазутчиков. Меня же он считал за главного вредителя, не потому, что так обстояло на самом деле, а просто я был на виду. И, словно одинокое дерево, привлекал к себе грозу.

В последнее время отец Паисий надумал себе новую стратегию, далеко не безобидную для всего здешнего устоявшегося порядка. Действовать через «больных», которых он именвал не иначе как «нищие духом», и пророчил им царствие небесное. При условии, естественно, что в это царствие отец Паисий поведет их самолично. А нашему главному не хватило как раз духа, который у него-то был во здравии, чтобы отогнать попа прочь – пациенты не шахматные фигуры в чужой игре. Может, рассчитывал на меня, не желая ввязываться и умалять свое положение неминуемой базарной склокой. Может, и это отнюдь не праздное предположение, полагался на подопечных «нищих духом», у большинства которых хватало здравомыслия не принимать фигуру отца Паисия всерьез. Признаться, единственно, кого получилось ему обольстить, и то отчасти, были братья-близнецы Гридни – им нравилось, в силу загадочной прихоти, как он заунывно выпевал молитвенные слова и махал кадилом, особенно же запах ладана. Отцу Паисию было вовсе невдомек, что братья никак не имели в виду его скудномысленные проповеди, а то, что они синхронно крестились и кланялись на импровизированных молебнах, им самим служило не более, как развлечением. Но попу они симпатизировали, как детишки дрессированной обезьяне, однако ничего иного сверх. Отец Паисий, напротив, полагал в Гриднях чуть ли не опору своему вторжению в отделенный мирок нашего стационара, как я уже упоминал, Бурьяновский приходской священник был круглым дураком. И потому особенно опасным и предприимчивым.

Но и у меня имелась отлично подготовленная оппозиция, тоже из числа наиболее адекватно воспринимающих реальность пациентов. Я никого не уговаривал и уж конечно не занимался науськиванием, наоборот, следил, чтобы в действиях своих они не заходили далеко. Для того только, чтобы дать понять – у нас не идиоты обретаются, в отличие от некоторых, и оставьте в покое.

На доске объявлений – имелась у нас и такая, довольно нарядная, между прочим, – с самого утра красовалось парочка исполненных цветными карандашами «дацзыбао». Как я называл их в шутку. Что-то вроде отдельных кусков стенгазеты с графическими шаржами и псевдо-хвалебными текстами. Для ясности приведу один отрывок-пример.

«Во здравие и за упокой! Только сегодня по цене двойного обеда! Спешите! Спешите! По два раза обедню не служат! Выступает архисхоластик и архипонтифик отец Паисий! Светило красноречия и драгоценный перл в короне Диспутатов! Разгон облаков, тьмы и невежества включены в стоимость! Не проходите мимо! Сбор пожертвований в трапезной помойной

лохани! Опустит, кто сколько может! И да снизойдет на тебя благодать под луковым соусом!». Поверху крепилось отдельной кнопкой сатирическое изображение той самой лохани и над ней алчущего отца Паисия со свинячим пяточком вместо носа.

Витиевато слегка, но что вы хотите? У нас психоневрологическая лечебница, а не богадельня спичрайтеров. Хотя, на мой взгляд, было неплохо. А местами написано даже мастерски.

Рядом с доской гордо прохаживался автор сего «безобразия», в смысле текстовой его части, Орест Бельведеров, или как его называли все у нас по собственной его же просьбе – N-ский карлик. Потому что, карлик он и был. Желчный, щедрый на изощренные ругательства, бывший звездный герой-любовник шоу лилипотов. Годов этак конца семидесятых. Я обязательно расскажу его историю, но в другом месте.

– А-а, Фил! Приветствую вас! – он произносил нарочно с иностранным акцентом, на раскат «пр-р-р-ывет-ствую!». И всегда делал паузу, словно дожидался смеха и аплодисментов из шумного зала. По сути, я обеспечивал в своем лице и то и другое.

– Вы сегодня восхитительно выглядите, гражданин N! – это тоже было частью нашего взаимного общения, так как я знал: обращение «гражданин» Бельведерову приятно, как искреннему почитателю завоеваний первой французской революции. Он объявлял себя открыто и в глаза любой комиссии прямым потомком Марата, и наперед открою секрет – именно из-за своего пристрастия к вышеупомянутому, кровавому периоду истории он к нам некогда и угодил.

N-ский карлик и впрямь выглядел замечательно, и не только пресловутым понедельничным утром. Он словно бы напрочь игнорировал тот очевидный факт, что давно уже не состоит в театральной труппе, а пребывает в несколько иного рода заведении, и потому одевался соответственно. Портной и костюмный умелец он был превосходный. Кроил, красил, перешивал, перелицовывал, резал кружева и блески N-ский карлик исключительно собственноручно, причем из подсобных предметов, на первый взгляд, совсем неподходящих. Испанский воротник из гофрированной бумаги, отнюдь не покупной: отпаривал старую кальку на крахмале, но вид был – тотчас из Брабанта доставлена контрабандная партия товара. Байковые панталоны по колено, будто от кутюрье, обшивавшего Людовика Четырнадцатого, как влитые, а на поверку тряпка тряпкой, зато как сработано! Не хватало лишь шпаги на боку, но она выглядела бы излишне гротескно, даже настоящая, случись вдруг под рукой. N-ский карлик это понимал, при его росте вышло бы смешно, а он желал принять надменный вид. Одно дело коротышка в испанском воротнике, маленькое чудовище из серии «Капричос» Франсиско Гойи, другое – шут гороховый, пыжащийся картонной шпажкой, это уже было бы не страшно, но безоружный карлик, пугающий единственно чужеродным безобразием совсем иной коленкор.

– Робеспьера на них, поганцев, нет! – многозначительно произнес Бельведеров, имея в виду стенгазету-дацзыбао. – Было же времечко! По пушке на рясу, по монаху на дуло! Привязать задами к жерлу, и та-ра-рах, дать залп! Чтоб в куски, – мечтательно продолжил он, глядя на меня снизу-вверх. – Но ничего, и у нас свой Фуше непременно сыщется, дайте срок! – дальше он добавил раскладистое и раскатистое непечатное выражение, касательно деви Марии.

– Все же вы постарайтесь не очень. Мы не баррикады строим. А в вашей гражданской, революционной сознательности никто не сомневается, – постарался я успокоить Бельведерова. Гнев его был несколько срежиссированным заранее, и предназначался скорее для меня, чем для отца Паисия, который о французской революции имел такое же представление, как первоклассник о гонорее. Это было нарочное заявление по типу «держите меня трое, двое не удержат», а мне полагалось изображать вдохновенное попечение и не пущать за пределы дозволенного. – Листовки ваши, первый сорт, – похвалил я и тексты, и рисунки.

– Что мое, то мое. На чужое не претендую. Свинячье рыло малевал Гуси-Лебеди, – внушительно напомнил мне N-ский карлик, густой голос его звучал снизу, словно бы он кричал в трубу, испанский воротник его озорно шуршал.

– Да уж. Денис Юрьевич талант! Не хуже, чем Кукрыниксы, хотя и в единственном числе, – похвалил я отдельно и живописную работу.

Денис Юрьевич Гумусов, один из самых поздних зачисленных к нам пациентов, и впрямь имел недюжинные способности художника карикатуриста. Прозвище свое «Гуси-Лебеди» получил от навязчивой привычки допрашивать каждого свежего, попавшегося ему под руку человека, чем существенным гуси отличаются от лебедей и почему в знаменитой сказке они летают вместе, хотя в природе таково не бывает. Вообще замечательный дядька и довольно искусный софист, он упорно трудился на досуге, ваяя монументальный аналитический труд, который, тем не менее, называл скромно «Несколько замечаний к истинной природе чуда», и в силу этих самых замечаний Гуси-Лебеди находился в состоянии вечной контрапозиции к общепринятой христианской доктрине. Я уважал его крайне деистическое мировоззрение, хотя оно и грешило изрядной долей казуистики.

– А знамя уже вывесили! – сообщил мне N-ский карлик и многозначительно указал коротким, детским пальчиком куда-то под потолок.

Я последовал взглядом за его направляющим жестом и воочию увидел подвешенный в высях на кусках бечевы, самодельный, выведенный синей эмалевой краской по старому линялому первомайскому транспаранту, плакат-призыв! Он гордо растянулся в том самом месте, где при батюшках-вождях полагалось пребывать нравоучениям о роли партийного руководства, без коего даже психи не могли обойтись, и воззваниям об ударном труде на благо всего прочего адекватного населения. Сколько я спорил с Мао по поводу этой малой крохи публичного протеста, сколько вынес сдержанных упреков от Ольги Лазаревны, ставившей мне на вид, что время нынче не то. Как будто бы исторические времена бывают поголовно для всех подходящими! Никакой особой крамолы наше коллективное детище не содержало, и мне, как автору его содержания не за что было краснеть. Короткая надпись гласила всего-навсего:

УВАЖАЙТЕ ЧУВСТВА НЕВЕРУЮЩИХ!

В общем-то, невинно. Посудите сами, если кто-то где-то, а в последние годы повсеместно, призывает уважать чувства верующих, отчего же не провозглашать обратное? Атеизм такая же точка зрения, как и иная прочая, не хуже и не лучше. Да и кто когда-либо слышал, чтобы абсолютные атеисты-скептики устраивали в буквальном смысле охоты на ведьм, костры инквизиции или судилища над вертящейся против их желания землей? Это рукотворные дела как раз истово верующих, все равно во что: в направляющую и заклинательную силу отцов народа, в чудотворную и спасительную нетленных мощей из Мавзолея, в Нового Коммуниста или в Старого Обрядца. Атеистам подобной ерундой заниматься ведь недосуг, их стезя – науки точные, контролируемые и проверяемые, или могущие стать таковыми гуманитарные, из философских же систем – только имеющие прикладное в эпистемологии значение, а пустая болтовня – это все мимо. Тот, кто хочет знать и жить сам, тому мордовать других некогда. Независимый, отважный поиск таинства бытия занятие беспокойное.

При надвигавшемся на нас смрадном потоке мракобесия, на много порядков хуже средневекового, ни за что не мог я заставить себя пребывать в показном равнодушии. И никакой умиротворяющей и благодатной божественной миссии в нынешней церкви, как и в церкви вообще, я не видел. Потому, все это от убогости мысли и душевной лени. Человек так уж устроен, он поверит во что угодно, лишь бы не думать самому. Разве совсем немногие в состоянии преодолеть этот барьер. И вдобавок страх. Что несправедливость так и останется ненаказанной, что смерть есть безусловный конец, как будто кто-то заглядывал за грань и точно разведал, каково там. Что соседу досталось больше чем тебе, и это поправить нельзя. Что в страданиях нет очевидной пользы и смысла. Что нужно смотреть в лицо той правде, которую сознавать нет сил. Что случайность неодолима, а будущее сокрыто мраком. Что за любой ответ нужно очень дорого платить. Что жизнь одна. Что время безжалостно. Что. Что. Одно сплошное «что», которое не оставляет места поискам «потому что».

Спасовать перед смехотворной фигурой отца Паисия означало лично для меня: предательство, почище отступничества Иуды. Потому как корыстный фигляр из Кариот продал всего-навсего человека, который и сам того хотел. *Volenti non fit injuria*. С кем поступили согласно его желанию, тому не причинили зла. Я же, поступи иначе, как будто бы соглашался с праведностью аутодафе на Кампо дель Фьоре, испепелившем Джордано Бруно, одобрял издевательства над стариком Галилеем, одиночество Спинозы, арест Дидро, позорную и двурушническую казнь Вавилова, и прочее, прочее. Откажись я от моей скромной борьбы, пускай в затерханом и замызганном Бурьяновске, я принял бы личностную смерть, надругался бы над собственной природой, а значит, разрушил бы некую цепь в ее эволюционном созидании. Я существовал бы впустую. А ведь я именно потому и приехал в Бурьяновск, чтобы не допустить этого ни в коем случае.

На утренней планерке факт воздвижения плаката главный замолчал, словно оно и не висело вовсе. С одной стороны, тонкий политический ход, Мао не был мастер на скандалы, да и отец Паисий порядком проел ему плешь. С другой – не обошлось и без благодушного попустительства, давало себя знать животворящая недавняя милостыня, поданная нам мертвым Николаем Ивановичем. Наверняка, Мао уже отделил толику приношения, хорошо еще, если не десятину, чтобы задобрить власть духовную. На его месте я бы фигу казал святому отцу, потому воришке даже веревка не идет впрок, и сколь волка ни корми, он все одно слопаёт и правого, и виноватого. Ну как втолковать простую истину? Я жил в поселке, и я знал. Из того, что попало в загребушие лапы отца Паисия наружу ничего не выйдет. Паства его и гроша ломанного не узрит, скорее уж царствие небесное. Отец Паисий в этом отношении славился недюжинными талантами.

Век мне не забыть, как заставил он глубокой дождливой осенью, исключительно пользуясь своей высокомерной гнусавостью, горбатиться «во спасение души» поселковых лихих молодчиков-палаточников, представлявших в сиром Бурьяновске одновременно торговлю и ее крышу. В общем даже бизнесмены-рэкетеры попались на его удочку. Вскладчину под надзором батюшки местные «бычки» отлили чугунный крест пудов в десять, может больше, затем отец Паисий громогласно указал день. Шествие было почище крестного хода. Принять участие мог каждый желающий за довольно нескромную плату, внесенную в благочестии. На своих могучих плечах в непролазную слякотную топь, согнувшись в три погибели и в две смены, Бурьяновские капиталисты-дурачки волочили крест добрых восемь верст за речку Вражью, дабы батюшка отпустил им грехи. Потом долго вбивали чугун в расползающуюся землю – якобы в месте расстрела невинно убиенных соратников атамана Краснова, который, кстати сказать, в здешних краях никогда не был. Отец Паисий помыкал искавшими спасения «бычками» как хотел, только, разве кнутом не стегал, дескать, дорога в рай не пряниками вымощена. Затем, что естественно, простил прегрешения, и палаточники вернулись обратно к своим грязным делишкам с чистой душой, теперь уже без зазрения совести обманывать, обсчитывать и закабалить в долги. А самый крест довольно скоро кто-то с речки утащил, еще бы! Даровой металл и без хозяина. Отец Паисий успокоил, однако, на этот счет свою коммерческую паству, мол, галочка поставлена у бдящих ангелов в памятке и зачтена будет на Страшном Суде. После чего я и подумал: уж не приложил ли сам батюшка свою благословляющую руку к исчезновению креста. С него бы случилось.

После завтрака – я как раз надзирал за порядком в столовой, – меня задержала Верочка. Робкая и стыдливая, настоящая сестра милосердия, в час, когда мне, как ей казалось, грозили неприятности, Верочка становилась довольно решительной.

– Может быть, не нужно? – она потянулась было тронуть меня за рукав, но словно бы испугалась обжечься.

– Что – не нужно, Вера Федоровна? – я никогда не говорил ей «Верочка», не желая создавать излишней близости и подавать несбыточную надежду. Просто «Вера» я не говорил ей тоже, потому, она никак не могла быть моей верой.

– Вывеску вашу не нужно, – она не смотрела мне в глаза, но и отступать не собиралась. – Отец Паисий обозлится.

– Ну и пусть обозлится. Я тоже злюсь, когда меня одолевают проповедями против моего хотения. Почему он должен быть в лучшем положении? Заметьте, я честно зарабатываю свой хлеб, а он ест его даром. Так отчего его злость значит больше против моей злости? К тому же, священнику злоба не к лицу.

Я сказал через меру много слов, но мне досадно было, что именно Верочка, а не кто-нибудь другой выговаривала мне собственные мои же опасения.

– Вы, кстати, прочли те книжки, которые я вам рекомендовал? В районной библиотеке они есть, а вы ездили в город, я знаю.

Верочка зарделась. Не из-за книг, полезных, хотя и незамысловатых на первый взгляд, но оттого, что мне были интересны ее передвижения.

– Я взяла. Как вы указали. Но отец Паисий читать не велел. Говорит, ересь – прилипнет, потом не отдерешь. Лучше вообще не трогать, а перекрестить и отдать обратно от греха. Чтобы душу зазря не смущать.

Вот оно! То самое, за что готов я был прибить отца Паисия, невзирая на все его дьяконские ранги! Вот с чего начинаются желтые колпаки «санбенито», тридцатилетние войны и молоты ведьм. Упаси тебя боже открыть свободное печатное слово! Упаси тебя боже поразмыслить о сущем самому! Упаси тебя боже отступить от повиновения жесткой длани духовного диктатора! Уравняй пусть спасения и путь невежества, и увидит бесовская церковная рать, что это хорошо. А главное прибыльно.

Двадцать первый век вот-вот на дворе. Для многих звучит, будто своего рода заклятие. А для меня проклятием. Можно подумать, если двадцать первый век, то сама эта цифра страшит от религиозной лютости. Мол, дорожка пройдена, и волноваться нечего. Двадцать первый век уже почти сегодня. Эпоха на переломе. Корабли на Марс, медицина в наноизмерение, технологии – вширь необозримые перспективы. Все пущено. И все запущено. Потому что, отец Паисий. Был, есть и пребудет во веки веков. Сей малый клоп, – попусти в благодущии руки и дай ему волю, – способен истребить и микромир, и необъятную вселенную, и самый интеллект, не искусственный, настоящий. Своего рода вирус, и он мутирует. Очень успешно, надо признать... И я завелся:

– Вера Федоровна, вы все же медицинский работник. Значит, по крайней мере, училище окончили. И, по-вашему, теория эволюции Дарвина – это греховная ересь? – я не хотел быть к ней строгим, но не сдержался, уж очень достало. – «Сущность христианства» Людвиг Фейербаха ересь тоже? Выходит, он нарочно сдох в полном забвении и нищете, только чтобы досадить отцу Паисию? А вовсе не для того, чтобы вы хоть на секунду задумались своими куриными мозгами? – Верочка уже и плакала, но меня несло. – Не желаете признавать атеистическую мысль, дело ваше. Но научитесь хотя бы спорить по существу, а для этого надо знать предмет. Вы как старая бабка на паперти, которой святая вода дана в утешение конца ее никчемной жизни. Однако вы же молоды и трусливы! Вы боитесь сами себя, а кончите тем, что положите в огонь вязанку хвороста, как некогда ваша предшественница в Констанце. Вы даже не знаете, что именно там сожгли реформатора Яна Гуса? И само имя вам ничего не говорит! Черт вас побери, элементарный школьный учебник истории – в нем что, сидит дьявол? Дура, дура и есть!

Я убил ее, и я это понял. Она хотела убежать, действительно хотела. Но так бывает в отчаянные минуты, хочешь сделать одно, а случается совсем другое. Будто затмение находит на человека. Жалел ли я Верочку? Слабых людей бывает жаль какое-то время, и я не исключение,

но тут происходило иное. Противно признаваться, однако я ощущал в себе совсем противоположные, во многом корыстные чувства. Слабый человек, он слабый до поры. Пока не поймет, как ему подточить сильного. Я не желал совсем, чтобы Верочка об этом догадалась. Жалость пришлось прогнать, хотя стоя столбом против беспомощно всхлипывающей девушки, пусть и весьма дородной в плане фигуры, я представлял, наверное, тип законченного бездушного мерзавца. Но думал о другом. На войне как на войне. Если дал промашку, поздно жалеть врага. А Верочка могла стать для меня именно, что врагом. Надо было срочно отыгрывать обратно. Я по опыту прекрасно знал: нет ничего страшнее, чем унижить безответно влюбленную в тебя дурнушку или простушку. Потому что, на этом обычно всякая любовь прекращает свое действие, и на сцену выступает ее скрытая спутница – расчетливая, ревнивая месть. Простушка перестает быть простушкой, а дурнушка обращается в медузу Горгону. И горе тому Персею, у которого не окажется спасительных крыльев или, на худой конец, надежного щита. Крыльев у меня не было. Зато щит я намерен был сковать, пока горячо.

– Вера Федоровна, ну что вы! – я тут же сообразил, что этого обращения недостаточно. Эх, была не была! Опять же, не под венец. – Верочка! – я даже опустил руку на ее мощное «кобылье» плечо. Ощутил дрожь. Неплохо, и так держать! – Вы позволите вас так называть? Фамильярно, конечно, я понимаю.

Как раз настала решительная пауза. Или пан или пропал. Или презрительное молчание или оплеуха, второе лучше. К тому же, отчасти заслужил. Не последовало ни того, ни другого. Верочка всего лишь кивнула.

– Верочка! – я повторил еще раз: – Верочка! Ну, посмотрите сами на себя со стороны. Разве вы не дурочка?

Она подняла на меня красные, как у кролика, глаза. Бог мой, почему у бесцветных блондинок: чуть что – на мокром месте, и взгляд становится неприятно пунцовым, будто у киношных вампиров? Я постарался скорчить улыбку. Рубаха-парень. В тутошнем дурдоме первый на деревне, и многое простится. Верочка ждала продолжения. Ох, если уж играть подонка, то не выходить из роли.

– Вы простите меня, Верочка, но всякий на моем месте бы сорвался. Сколько я ради вас положил трудов, чтобы вы, так сказать, вышли на светлую дорогу! Разве ж мне не обидно? – вот врал, так врал. Под большое декольте. У Верочки и впрямь большое, из нее вышла бы шикарная опереточная кормилица. Но в том-то и дело, что самое великое счастье для женщины принимать желаемое за действительное.

– Я не знала, что вам до меня не все равно, – и опять она попыталась заплакать.

Пришлось пресечь попытку в корне. Да и мне надоело до чертиков, не в своей тарелке долго не усидишь. Будь оно все неладно. И без того с этой Верочкой впредь не расхлебаться.

– Вот-вот, дурочка и есть! Коли угодно вам слушать вашего попа, что же, препятствовать не могу, – я придал себе нарочно оскорбленный вид. – Набиваться в наставники тем паче не стану. Будто мне больше других нужно? – и даже повернулся, чтобы уйти.

– Ох, нет, погодите! Я хочу! – с таким жаром она сказала, что мне сделалось лихо. – Только ведь и отец Паисий! Вы бы послушали! И про писание, и про тот свет!

– Мне бы с этим разобраться, – неосторожно обмолвился, но слово, как пуля – вылетит, во что-нибудь, да попадет.

– Я вам помогу! Честное-пречестное слово! Я книжки ваши прочту. Только и вы тоже..., – Верочка запнулась, однако смысл ее пожелания мне и без того был вполне ясен.

Чего же проще. Барышня желала видеть себя в роли спасительницы моей бессмертной души. Благое начинание, хотя и абсолютно бесперспективное, по крайней мере, нейтрализует ядовитые ростки, которые я сам же и насадил неосторожным буйством. Ну, и пусть ее! Я согласно развел руками, мол, ничего не поделаешь, мели Емеля. И оставил Верочку в состо-

янии, может, только раз в жизни выпадающего человеку счастья. Она опять плакала. Надо думать, от экстаза.

А я был зол, как сто тысяч арабских террористов. Или как дюжина недокормленных пограничных овчарок. Или как алкаш, с похмелья стучащийся в закрытый пивной ларек. Представлял себе Верочкины наставления, которые хоть раз, да придется выслушать, и бесился зверски, даже парусиновую «чешку» потерял с ноги. Пускай бы и отец Паисий, со всем Святейшим Синодом, а только у меня появилась неодолимая тяга как можно скорее навестить дядю Славу в терапевтическом кабинетике. Вовсе не ради атеистической поддержки, дядя Слава, несмотря на боевое прошлое, любил церковные праздники, не вникая, однако, в их суть. Но у дяди Славы имелся в запасе хорошо и толково разбавленный шиповниковым настоем спирт, спиртыга четыре к одному, первый сорт, а мне до разреза необходимо было принять на грудь грамм сто. Дядя Слава нипочем бы не отказал, потому как знал, уж если я прошу, то значит, самый, что ни на есть, настал край.

Спасение души, тот свет, этот. Бездна и преисподняя. Ругался я беззвучно сквозь зубы и с матерными периодами. Вот посудите сами, если не совсем еще спали с ума от моей болтовни. Какие на хрен могут быть адские муки, и вообще, на кой ляд он нужен, этот ад, равно как и спасение от него? Телесная боль, даже если допустить, что в аду у вас есть тело, ничто сама по себе. Она лишь указатель на неблагополучие здоровья, и опять же, вызванный инстинктом страх самоуничтожения. Сугубая относительность, боль – это плохо, если за ней просматривается конец земному бытию. Чтоб мы знали, где и как у нас неладно, и попытались по возможности устранить сбой. Потому что иначе – конец программы, выражаясь понятным языком. А о чем может сигнализировать боль при условии бесконечного существования, пускай даже и в пресловутом аду? Поменяй в сознании минус на плюс и получай удовольствие, хотя бы оттого, что эта боль свидетельствует – ты уж помер, и второй раз в гроб тебе не надо. Бесплодное занятие мучить покойника. Точно выжигать огнем пустыню Гоби, в которой и так ничего нет. Но если муки душевные, то тут все еще проще. Потому как, зависят от тебя одного, раскаялся – они и кончились, наступило светлое воскресенье. А если не раскаялся, стало быть, мыслишь, что поступил правильно, так чему здесь болеть? Если все в порядке. Однако запугать человека всегда легче, куда сложнее открыть ему доступ к причинам собственных страхов. Потому что, бояться многим нравится. Намного проще, когда мораль приходит извне, и кто-то посторонний за нее в ответе, чем когда извлекать добро нужно исключительно изнутри, да еще с владельца конечный спрос. А так, не нами заведено, с нас и взятки гладки, и последствия сиреневы. Отцу Паисию тоже, якобы он не от себя говорит, но святым духом вещает. Раб божий, где сядешь, там и слезешь.

Если задуматься, любое божество в мистическом плане индивидуального общения с ним, будь то Аллах, Христос, Гаутама или даже неопалимая купина – всего-навсего пилюля от одиночества. Всякий человек замкнут сам на себя, и это изменить нельзя. Зато можно измыслить друга, лучше могущественного руководителя и заступника. Как в детстве ребенок, по преимуществу заброшенный и болезненный, частенько воображает товарища по играм, белого кролика, деревянного щелкунчика, несуществующего братика или сестренку, зубную фею и Оле Лукойе, чтобы нестрашно было по ночам. Заметьте, для видений необходимо отшельничество, потому что среди людей ты менее одинок, и фантомные приятели тебе ни к чему, их можно вполне заменить живыми разумными существами. Не станет в сердце людском трусости, не пребудет в нем и божественных глупостей, любому по силам блюсти мужество и честь, но не любому хочется утруждаться. Вот здесь и кроется тайная сущность поповского бизнеса. Только зачем же навязываться всем впопалку? Неужто от корысти вовсе повредились в уме? Похоже на то. А может, и всегда так было. Но лично я против. И предпочитаю уважать себя, справляясь собственными силами.

Любовь к богу, которой кичатся как мирские, так и посвященные, тоже не более, как фикция разума. Если бог любим как конкретный персонаж, то это одинаково с любовью фанатов к своему кумиру, экранному, эстраднему, спортивному, все едино. И таково же ждут чудес. Когда возмездно, а когда без – последние штаны отдам, только взгляни или призри на меня разок. Знаете песенку? «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». Идеал всегда легче обожать, чем отдельно взятого несовершенного человека, так что особой заслуги здесь нет и в помине. Но если божество не определено, абстракцию и вовсе любить немислимо, это как поклоняться равнобедренному треугольнику. Пустота. Потому, если кричат о любви к богу, и одновременно признаются в том, что понятия не имеют, что же он такое, это и есть главный обман и лицемерие. В таком случае присутствует лишь неумная похвальба самим собой и козыряние перед прочими, не столь находчивыми и зачастую наивными людьми. В корыстных целях, разумеется. А когда и свирепые гонения, на тех, кто мудро рискнет усомниться в подлинности и достоверности чувства. Тут как раз до изуверского костра недалеко.

Однако будет. Дядя Слава налил мне полстакана. Не укорял, а вроде бы с ехидцей. Плакат Мухарев естественно видел, хотя не сказал мне об том ни полслова. Смотрел, ухмыляясь, на мои потуги справиться без закуси с «огненной водой». В праведной борьбе с отцом Паисием дядя Слава выступал ни на чьей стороне, не то, чтобы нашим и вашим – для него это был даровой спектакль и только. Он прошел бойню, а человек, прошедший бойню, точно знает, что бога нет. Но не прочь и повеселиться на чужой счет. Отец Паисий, похоже, казался ему как раз пресловутым командиром заградотряда, который еще не начал раздевать трупы, и от него пока есть сомнительная польза. А случись такая оказия, шпана расстреляет на месте, и дело с концом. Потому отец Паисий относился к дяде Славе заискивающе-умилительно.

Я ждал бурю. Если не бурю, то изрядное трепание нервов, благочестивые визги, заулированные угрозы предания вечной геенне огненной, и тому подобное. К моему сногшибательному изумлению, вообще ничего подобного не произошло. В лесу сдохла не иначе, как баба Яга вместе со своей избушкой. Отец Паисий вел себя кротко, аки агнец. Украдкой лишь кинул кривой взгляд на транспарант, и озабоченно просеменил мимо. Чудеса! Я решил про себя, держит камень за пазухой. Мол, глядите православные, на поругание мое! Но в том-то и загвоздка, что даже во время импровизированных молебных упражнений с кадилом в игровой зале, по сему случаю превращенному в некое подобие часовни, ничегошеньки он не припомнил из нанесенной ему обиды. Не было такого раньше. Чтоб отец Паисий упустил момент? Ха, да это все равно, как если бы матерый гаишник без мзды попустил нагруженной фуре следовать беспрепятственно с липовой накладной. А в фуре – новехонькая оргтехника вперемежку с банками черной белужьей икры. Я до конца ждал подвоха. Но не было его.

Гридни оба истово кланялись. Зеркальная Ксюша механически крестилась, думая о своем. Бельведеров строил нарочно бесовские рожки. Прочие наши постояльцы забавлялись, кто во что горазд. Но не нарушая распорядка. Все же отец Паисий представлялся им каким-никаким, разнообразием в обыденной больничной жизни. Три дешевые иконы, деисусный чин: дева Мария, Христос и Креститель; вышитый крестиком рушник, должный изображать алтарный покров, коим служил шаткий столик для игры в шахматы-шашки, вот и весь нехитрый набор «обеденной» утвари. Молитвенник, то бишь псалтирь, также милые его сердцу кадило и кропило отец Паисий приносил с собой. Кажется, настоящий церковный устав он знал весьма слабо, или вовсе с пятое на десятое. Но у нас вполне сходило с рук.

Понятное дело, среди зрителей отсутствовали Мотя, Феномен и Гуси-Лебеди, последний по идейным причинам. И присутствовал весь наличный персонал без исключения, это для дисциплинарного примера. Верочка поглядывала на меня томно, Ольга Лазаревна с укоризной, она уже уловила запахок дяди Славиной «святой водицы». Несмотря на то, что я как следует, прополоскал горло и рот «ежихой» – ударной смесью табачной крошки и перца, в дистилли-

рованном растворе. Одна беломорина на восьмушку чайной ложки. Но у Ольги Лазаревны на меня особый нюх. Было время, когда... Впрочем, об этом после.

Я ничего совершенно не понимал. Мысли мне лезли в голову самые что ни на есть, фантастические. Верочка уговорила духовного отца о прощении, обещая неминуемое мое обращение в истинную веру. Черт побери, даже она не могла быть настолько душой! Бельведеров поймал в темном углу Паисия и пригрозил ему шпагой. Ага, а шпага-то откуда? Мао сделал небывалой щедрости подношение. Ба, будто Бурьяновского батюшку это могло вразумить, скорее наоборот. Я гадал напрасно.

Чудеса исправно наблюдались и далее. В трапезной, в смысле, в нашей столовой, куда полагалось следовать после трудов праведных для приятия благословенной пищи, корыстный отец Паисий не сделал ни малейшей попытки к «выносу». Хотя Нина Геннадьевна, милейшая сестра-хозяйка, не столь уж бдительно надзидала за батюшкой. Обычно святой отец норовил прихватить и притереть под рясу то чашку, то плошку, то вилку, то ложку, то пластмассовую салфетницу с содержимым. Как бы Нина Геннадьевна ни почитала внешне церковную власть, однако не могла допустить расхищения казенного имущества. Зачем отец Паисий тащил это все, бог его знает. Может, в силу привычки, чтобы не растратить полезные навыки. Может, от внутренней порчи. Может, от глумления над неусидчивой паствой. А может, и в действительности имел с того копеечную выгоду. Но вот же, ничего он не попер. Именно, когда ему почти ничто к тому не препятствовало. Нина Геннадьевна не одобряла плакат-воззвание, это было видно по подчеркнuto громовым метаниям ее взгляда в мою греховную сторону. А к отцу Паисию чуть ли целоваться не полезла – тоже демонстрация, к пылко верующим нашу экономку-кастеляншу сложно было отнести. Богом ей служил дисциплинарный порядок. То же можно сказать и о любом человеке с практической жилкой. Но это ладно, пожившая и выдававшая виды несвежая женщина имеет свои права. Нина Геннадьевна хорошо чувствовала пограничные межи, далее которых нельзя, потому и батюшке не давала избаловаться.

Я одним из последних покидал столовую, будто бы дожидаясь – не произойдет ли чего. Оно и произошло, только совсем не то, на что я втайне рассчитывал. На целебную свару, на нее, на нее родную. На столкновение в лоб и хоть какое-то разрешение противоречий. Случилось иное. Я услышал уже на пороге, как отец Паисий сказал нарочно, видно, удержанному им главному:

– Нехорошо, Маврикий Аверьянович, плохо. Страждущий позабыт в беспомощности!

Я приостановился в открытых дверях, делая вид, словно извлекаю из памяти что-то важное. Неужели, речь обо мне?

– Какой страждущий? – Мао явно ничего не понимал. – Я вам довольно... Я вам дал..., – главный смешался, ожидая нового бесцеремонного вымогательства.

– Все-то вы о мирском, господи прости! – отец Паисий скорбно вздохнул и перекрестился. – А я вам о душе. Так как же, Маврикий Аверьянович? – Маврикий, ха! Однако батюшка всегда игнорировал имя Марксэн, дескать, нет такого в святцах. А Мао терпел. О душе, туда же! Неужто, отец Паисий сам преобразился? Держи карман шире, как говорится, из змеиноного яичка, не вылупится дрозд или синичка. И я оказался прав.

– Что – как? – продолжал «тормозить» Мао. Да и я, впрочем, за компанию.

– Неходящему али скверно болящему несть отпущения за немощью его, – вот тарабарщина. Но отец Паисий талдычил свое, здоровенный оловянный крест потешно дергался в такт на его худосочной груди: – Затворник-от ваш без слова помощи остается! Так я о дозволении навестить?

Оп-па! Да ведь это он о Феномене. Вчера еще батюшке было три раза плюнуть и столько же растереть на муку Геня Власевича. Потому что, какой же с него доход? Как говорится, ни морального, ни материального прибитку. Тем более, отец Паисий сторонился ученых людей,

обходил их, что твоя бешеная корова за семь верст, при условии, конечно, если и они в свою очередь его не замечали. Гению Власевичу в его убийственных потугах поповское утешение было нужно как глухому уроки музыки. А тут вдруг, ни с того ни с сего, о дозволении навесить?

Если бы я озарился в тот момент поучением Моти! Если бы! Время, возможно, не было бы упущено. Но не случилось того. В мире вещей ищи соответствия. А найдя, проводи параллели. Не нашел и не провел. Хотя все же меня кольнуло. Не в отношении юродствующего батюшки. Подумаешь, мнилось мне, за приличный куш решил поиграть в благолепие. Дескать, вы ко мне с богатым подношением, так не думайте, будто зазря. Вот, стремлюсь всей душой отработать черным трудом.

Батюшку я упустил. Но зато Мотин строгий наказ как раз вспомнил. Честно – в этот третий день только. А что поделаешь? Такова натура, не моя отдельно, но и любого живущего, как сказал бы отец Паисий, в суете пребывающего. Однако дело заключалось не в одной лишь суете. С каждым похожее приключалось. Сообщают вам, к примеру, новость из разряда необыкновенных, вы в первую минуту ох! и ах! а во вторую, да полно ли? Так ли это? И новость от долгого размусоливания сходит на нет, после и вовсе отброшена как несущественная. Если, само собой, вас краем этой новости по собственной башке не шандарахнет. И все равно, даже осада Белого Дома на тот же третий день выглядела представлением обыденным. А теперь вообразите, что от вас в придачу потребовали немедленных действий. Притом требование это вы выслушали глубокой ночью, при неадекватных обстоятельствах. Развернули в уме картинку? Значит, догадываетесь, что будет потом. Потом вы проснетесь поутру, и все случившееся в тенетах тьмы и оттого казавшееся вам непременно очевидным и бесспорным, умалится. Утро вечера мудренее. Если бы! Утро вечера тупее, так правильно. Я переспал с Мотиным пророчеством или с просьбой-приказом, а на следующий день, жаркий, ленивый и солнечный, махнул на все это рукой. Не в смысле, ну и хер с ним! А в том значении, что спешить некуда. Да и Мотя, все же, сами понимаете, постоялец известного заведения. Но хоть бы и нет, мало ли мы пропускаем мимо случаев из-за неумения вовремя прозреть истину? Да почти что всегда. Так вышло и со мной.

Я должен был пойти к Мао и все рассказать. Но с одной стороны, смог бы я убедить его в том, во что сам перестал верить поутру? С другой, – я подумал это украдкой, – не выпало бы и Моте ограничений? Ну-ка, если бы Мао приказал запирать нашего шатуна на ночь? И мне маята. Открой – закрой. А вдруг кому в четвертой мужской надо в туалет? Караулить мне было совсем неохота. И прочие дежурные сменщики помянули меня бы недобрым словом. Кудря или Лабудур, может, и нет. А вот Семеныч уж точно. Ему любая работа в маяту. Лишь до пенсии дотянуть, а там трава не расти.

И все равно я раздумывал, сказать – не сказать. Вообще-то, я был обязан это сделать. ЧП, конечно, не произошло, но главный должен находиться в курсе больничных дел. Особенно, когда происходит нечто не укладывающееся в обычные отмеренные рамки. Мотя прежде не бродил по ночам, и тем паче, не делал никаких предостережений. По его словам, Феномен находился в прямой опасности, но это только по его словам. И слова те исходили от..., вы сами понимаете, разве принял бы их Мао на веру? Я спросил себя, и себе же ответил. Может и принял бы. Надо все же знать Мао. И Моте он всегда симпатизировал, если не сказать больше. Не выражал открыто, любимчиков здесь иметь не положено, но что-то такое подспудное было. Я тогда же внезапно выразил это подспудное, оно несло на себе пусть неявную, но осязаемую печать, интуитивным чувством печать страха. Чего мог бояться Мао в отношении Моти? Кроме его выкрутасов с залетными посетителями. Последние были лишь досадным обстоятельством, легко пресекаемым, кстати говоря, если бы Мао захотел принять превентивные меры. Но нет, попахивало страхом совсем иного рода. Здесь присутствовало то самое, что иначе выражается емкой поговоркой: «обезьяна с гранатой», а ты от нее в лучшем случае мет-

рах в двух и бежать некуда. Рванет – не рванет. Рванет что? В Мотином случае граната та была незримая и вопросительная. Мао, скорее всего, сам не знал, но этим страхом умудрился заразить и меня. Я постановил для себя: рассказать непременно надо. Может, позже, когда отец Паисий уберется восвояси. Коли охота ему, пусть тащит свое напутственное слово в берлогу Феномена, ему же хуже, так я думал. Гению Власьевичу вреда не будет. А с главным я еще успею поговорить.

И, что естественно, скоро о своем намерении вновь забыл. Тут и Верочка, и Ольга Лазаревна, все сыграло свою плачевную роль. Верочка мучила мои «верхние мысли». Те, которые принято называть текущими проблемами. Я не сомневался, что смогу их разрешить, но это были лишние заботы, от которых всегда хочется подальше. Ольга Лазаревна представляла собой не то, чтобы проблему, скорее ее не канувший в прошлое отголосок. «Святую водицу» мне припомнили.

У нее тоже имелся свой кабинетик. Напротив мужнего. Льняные с самовязным кружевом салфеточки, горшочки с капризно щетинящейся бегонией и полудохлыми от солнечного зноя фиалками, даже лоскутный коврик на полу. Не хватало лишь плюшевых игрушек и отделанного атласом альбома стихотворных этюдов от поклонников. А так, ни дать ни взять, девичья светлица. И вот в этой самой светлице! Заманили, как мальчишку.

– Феля, у меня нет слов! – и ладошку к области сердца. – Я совершенно отказываюсь понимать! А вы меня не понимали никогда!

Что за тон! Этого еще не хватало. Не довольно ли мне было за один день и душевных драм, и стрессовых умопомрачений? Чтобы воскрешать то, чего и не случилось толком. Я чувствовал себя, будто гробокопатель-некрофил, у которого в объятиях ожила мумия.

– Ольга Лазаревна, как вы можете! Я всегда относился к вам с глубоким пониманием, – а что еще было сказать?

– Как ВЫ можете! А когда-то вы называли меня просто Ольга! – в том было великое счастье, что она перешла на заговорщицкий шепот. Услышь подобное Мао, вот тогда-то произошли бы громы с молниями. А может, не произошло бы ничего.

Просто Ольга! Как же, ищите дураков, прекрасная мадам. Все давно быльем поросло, и расчищать прежнее свято место я не собирался.

– Ольга Лазаревна, мы не вполне одни, – я красноречиво указал в сторону противоположного кабинета.

– Ах, оставьте! Будто вы школьник, – она сморщилась, и совсем сделалась похожей на пожухлую фотографию девочки-старушки из дореволюционного журнала, все же сильно за сорок, а это срок. – Вы пьете, и пьете не из-за меня. Так отчего же? Мухарев украдкой снабжает вас спиртом, старый интриган – я так вне себя на него! И ваш транспарант. Что и кому вы хотите доказать, Феля?

– Ольга Лазаревна! – это был с моей стороны почти что крик отчаяния.

– Вы страшный человек, Феля! Да-да! Если бы я это знала тогда, ни за что с вами б не..., – она в притворном бессилии упала в шаткое креслице.

Мне полагалось предложить ей воды, и я предложил. В чисто протертом графине плескалась тепловатая, противная на вид, синеватая водичка. Я налил полстакана. Лишь бы все скорее закончилось! Я бы ей чего угодно налил. Ни за что бы с вами не... А что «не»?

Можно подумать, я крутил гусарский роман. Если бы! Когда бежишь не от чего-то, а к чему-то, как в моем случае, на кривой дорожке нет-нет, да и встречаются казусы. Потому что, то и дело мерещится, будто ты уже добежал. Не до конца, а так, до очередного межевого столба. Вот Ольга Лазаревна и оказалась одним из подобных встреченных столбов-указателей. «До Шмаковки еще десять верст». Шишек кровавых я не набил, не такая она женщина. Но представьте, вы в незнакомой местности, на ответственной работе, ни больше ни меньше как санитар в отчасти привилегированной «психушке». По табели вас величают штатный медбрат

Коростоянов. Дома у вас сарай для жилья и в хозяйках горластая торговка Ульяниха. Местные парни пока что смотрят волками, да и девки не спешат виться вокруг. Хотя ты и вышел умом и телом, но жених не первый сорт. Потому, ум у тебя не тот. Не подходящий. Одиночество, вот что это было такое. Еще до Верочки. Иначе, кто его знает, вдруг бы и позарился на нее, но не успела и не поспела вовремя. А тут интеллигентная врачиха, даже дама. Дамочка. И порой скучает. В нашей дыре и святой Антоний бы заскучал, сюда не то, что бесовские рати, одинокие чертенята в целях совращения не забредают. С другой стороны, свободный молодой человек, до тридцати – имеется в виду, был тогда, – из столиц и с высшим образованием, которое само по себе никому не нужно. Философский факультет, диплом на тему диалектической логики Ильенкова, аналитическая заумь, реального применения не видно ни зги. Хотя я как раз держался противоположного мнения. Просто не ко времени. Не ко времени Дейла Карнеги со товарищи – как нажить миллион и при этом превратить обворованных тобой если не в друзей, то хотя бы в холуев.

Заведение у нас было маленькое. Четыре мужские палаты и четыре, неполные, женские. Все. Камерно в обоих смысловых подтекстах. Разгуляться особо молодцу негде. А хочется. То ли тепла, то ли рядовых приключений на свое седалище. Не с Тоней же Марковой крутить? Слезливая повариха, два раза по шестьдесят в обхвате, банально, аж жуть. Да и законный спутник у нее – местный кузнец-молотобоец в ремонтных мастерских. Себе дороже. Оставалась одна Ольга Лазаревна. Главного я, конечно, уважал. Не без меры, но достаточно, чтобы не наглеть. Но и не настолько, дабы откинуть заманчивую мысль напроказничать, наставив беззлобно прямому начальству рога. Стыдно, однако, охота пуще неволи. Только никаких настоящих рогов не вышло. Ольга Лазаревна лучше всего умела вздыхать при луне, морочить кавалеру голову лирикой Цветаевой, из коей знала наизусть ровно два коротких отрывка, да еще делать загадочные намеки на пустом месте. В ее представлении это было чуть ли не романтическим падением. Правда, падение тоже случилось. Вот уж действительно и смех и грех в одном флаконе. Если, само собой, мне взбрело на ум называть падением короткий перепихон на чердаке – леший ее понес наблюдать грозу, – а вам не тошно слушать мое беззастенчивое вранье. Грозы, Ольга Лазаревна, как водится, перепугалась. Очень чувствительная натура. А я не будь дурак. Хотя дурак и есть. На болоте в гамаке, стоя на одной ноге. Как-то так все и произошло. Будто мы на поезд опаздывали, который в жизни последний. Она, правда, сама назначила мне свидание. Не то, поперся бы я среди ночного дежурства на захламленный чердак, я все же санитар, а не пациент. Тоненькая-то она, тоненькая, но держать ее на весу было сущим мучением, обмякла вдруг, как Александр Матросов, уже закрывший грудью амбразуру, и все время испуганно хныкала, бедная, она ведь раньше никогда, приличная чужая жена. Еще и щеку мне расцарапала, словно защищалась в беспамятстве, как если бы я пытался утопить свою жертву в омуте с целью неокончательного убийства. Поделом. Но пошлости не было, то ли оттого, что вокруг гремело, рыскало и рыкало, то ли оттого, что спасала меня от меня самого.

Потом Ольга Лазаревна загордилась. Наверное, почувствовала себя настоящей роковой женщиной-вамп, соблазнительницей отроков. С нее было и короткого приключения довольно. Дальше пошли какие-то идиотские разговоры о непоправимо ущербной чести и супружеском долге на вынос. Я в виде покаяния терпел унылую словесную хрень сколько было нужно для будущего «мира в семье» и представлял о себе достаточно гнусно. Чтоб он сгорел, этот чердак! Ну, мелкий служебный романчик, а суматохи, словно я изнасиловал японскую принцессу на выданье. Визгу много, а шерсти мало – сказал черт, обстригая кошку. Со временем все успокоилось, хотя я шкурой чувал – в каком-то неявном отношении Ольга Лазаревна считает меня своей законной добычей, и ревность ее может дать о себе знать. Впрочем, в нашей богадельне ревновать было не к кому. Не к Зеркальной же Ксюше?

Но вот, Ольгу Лазаревну посетила лишняя мысль в кои-то веки устроить мне воспитательную сцену. Из-за чего? Из-за плаката и ста грамм? Только причем здесь, «когда-то вы

называли меня просто Ольга!». Ну, называл, и что? Я, разумеется, не светский ловелас, и поза-видовал бы при случае на султанский гарем, все же мало ли кого я называл просто? То, что для нее навеки сохранилось под розовыми венками, как чарующе-зловещее событие ее жизни, для меня даже не было частным эпизодом. А так, недоразумением в крапиве.

– Вы кокетничали с Верой! Я видела! – и строго посмотрела, пополам материнским и жеманно оскорбленным взглядом, который отчего-то придал приличнейшей Ольге Лазаревне откровенно блядский вид.

Ну, так я и знал! Ревность и к кому! К Верочке! Все равно, что приревновать зоотехника к дойной корове. Конечно, бывает всякое, но я вполне нормальной ориентации. Тем более, когда на туманном горизонте всплыла из пенных волн разящая стрела-бригантина. То есть, Лидка. Пусть бригантина не моя, но ведь всплыла же! Я снова вспомнил голые бритые ноги.

– Помилуйте, Ольга! – как пошло с утра, так я и продолжал угождать самым разным женщинам. – Какая еще Вера? Для меня Вера Федоровна не более чем коллега.

– Я видела, как она на вас смотрела! – аж с креслица вскочила, затрясся бедный хлам! Она видела. Будто я нет!

– Так это она смотрела, не я. Дело вот в чем..., – я решил не мутить и без того темные воды, оттого выложил всю истинную подоплеку произошедшего.

– В одном Вера права, – поведала мне Ольга Лазаревна, для порядку рассеяв вокруг несколько вздохов. – Вашим нравственным воспитанием давно пора кому-то заняться. Вот вы уже у Мухарева клянчить начали.

Этого мне не доставало. Одна баба с катехизисом вместо ореола святости – как плохо переносимое рвотное, а две – слуга покорный, тут уж топиться впору. Но я вел себя подчинительно скромно, и ничего против не сказал. Авось, забудет. Но тревога-то не делась никуда. Кто был хоть раз на моем месте, сочувственно поймет. Отчего в тот день мне и без Мотиных заморочек хватало.

А вечером случилась Лидка. Именно, случилась. Я не оговорился нисколько. Понятно, я думал о ней. Не все время, но урывками. Как голодный студент о колбасе. Не в колбасе счастье, а и без нее тоскливо. Я даже прикидывал, не пойти ли мне поискать. Вопрос, куда? Слоняться наобум по поселку предприятие дохлое. Это все же не деревня в одну улицу. Скажем, от фабрички до полустанка путь не ближний, из конца в конец изрядно, а если брать за точку отсчета наш стационар № 3,14... в периоде, и за пункт прибытия излучину речки Вражьей, то верных сорок минут пешим скорым ходом. Приставать к встречным-поперечным с праздным интересом: «Вы не видели часом полуголюю приезжую по имени Лида?», возможно и не было безуспешным предприятием, но отчего-то мне не хотелось светиться. Хотя я вряд ли нарвался бы даже на элементарное зубоскальство, сам пришлый, в придачу ищет кого-то со стороны, вдруг и родственники-знакомые, мне бы помогли, даже с охотой.

Лидка нашла меня первой. Все на том же крылечке. Я сидел и дул молоко из пакета, порошковый суррогат, в Бурьяновске все одомашненные коровы еще при историческом материализме перевелись, а диких там отродясь не водилось. Дул я, в общем, молоко, и заедал его тоже покупным пирожком с ливером, готовкой я не утруждался. Оттого, что по месту работы мне полагался пансион, и оттого, что кулинарить мне попросту было негде. Ни электроплитки, ни даже кастрюли и сковородника обыкновенных я не имел, а в свою кухню Ульяниха меня не допускала. По правде признаться, особых неудобств я не испытывал, потому что окажись у меня во флигельке все выше обозначенное поварское оборудование, вряд ли бы я притронулся к оному. Привычка в вечной общажно-столовской житухе давала о себе знать.

Она окликнула меня неожиданно. Я чуть не подавился – как раз запрокинул голову, чтобы добрать молочные остатки со дна. Заперхал, заозирался, уже сумеречная пелена при-тушила дневной свет, и я сидел словно бы в надвигающейся обманчивой туманной дымке.

Откуда, с какого края она появилась, я не заметил. Я вообще ее не заметил. Она, наверное, забыла мое имя, потому что окликнула меня:

– Эй! Да, да, вы! Там! – через косорылый забор. И ни с того, ни с сего сообщила: – А няню я все-таки нашла! – будто на олимпиаде стометровку выиграла. В чем-то похоже, пойдя найди взаправдашнюю няню в Бурьяновске-то! Но, может, она для красоты словца так сказала, что няню.

– Поздравляю! То есть, рад за вас, – я торопливо упрятал пустую картонку в дыру между подгнившими досками, хорошо еще, что успел прожевать резиновые остатки пирожка. А на мне, вот блин горелый, снова вытянутые треники и поверх одно голое брюхо. Я резво поднялся и козлом поскакал через луковичные грядки к забору. – И кого же нашли, если не секрет?

– Ну, да, секрет! – ей отчего-то сделалось смешно. Будто в нашем поселке никаких тайн быть не может! Сколько угодно, особенно таких, которые никому не нужны. – У вашего дьяка старшая дочка Ира. Я плачу ей по часам. Все равно ведь каникулы.

Я сперва не врубился, хоть убей. Какой дьяк, какая Ира? Насилу сообразил. Не дьяк, дьякон, для нынешнего невежественного поколения что дьяк, что дьякон все едино, главное звучит похоже. А ведь это совершенно разные вещи, дьяк вообще не церковный человек, а служилый царского приказа в допетровские времена. Гражданское лицо, так сказать. Но Лидке объяснять не стал, видел уже, что это в данном случае лишние усилия. Хоть бы и дьяк, пес с ним, с такими ногами и волосами, и особенным лицом она имела полное право называть отца Паисия как угодно, пусть бы и главным опричником хоральной синагоги. Дочка Ира, лихо записавшаяся к ней в няньки, по всей очевидности была та самая сопливая Аришка, обкладывавшая своего почтенного батюшку прилюдно «гондоном». Прямо подарочек, если она не разворует у Лидки половину имущества, то это выйдут реально чудеса в решете.

– А вы отдыхаете? – задала она праздный вопрос.

Землю рою на предмет клада! Но какая разница, о чем говорить? Лишь бы не уходила подольше.

– Отдыхаю. От трудов праведных, – согласно ответил я. И подернул повыше сползающие треники.

– А я гуляю. Смотрю как тут чего.

– И как тут чего? – будто в Бурьяновске много можно высмотреть. Хотя на вкус и цвет...

– Скромно, – сообщила мне Лидка, и я словно бы уловил ее скрытые мысли – она хотела произнести словечко покрепче, но сдержалась, и на том спасибо.

– Скромно слабо сказано, – я произнес за нее. Дальше мне полагалось поинтересоваться, что такой ангелочек делает в наших краях и откуда ее к нам занесло на шальном облаке. Но Лидка и тут упредила меня.

– А я из Москвы, – будто похвасталась.

– И я из Москвы, – и почти не соврал. – Я одно время там жил, правда, родился совсем в другом месте.

– И что? Не сложилось? – она уловимо сочувственно спросила.

Оттого я ответил ей честно, как есть:

– Не сложилось, – но в подробности вдаваться не стал. Пусть пока думает, что хочет. Все равно, мне-то хвастать было нечем.

– А я держусь. Тут главное попасть в струю, – несколько свысока поделилась со мной житейской мудростью Лидка. Я так понял, что она-то свою струю нашла. Как и то, что она тоже отнюдь не была коренной москвичкой. Но и не лимита в старом понимании этого слова. Лимита по комсомольской путевке как раз был я.

– Надолго к нам? – я перевел стрелки. Вдаваться в рассуждения о струе я не собирался. И без того известно наперед, какую конкретно нудьгу в наши времена можно развести на эту тему.

– Не знаю, – она передернула плечиком. Что именно на ней было надето, и на сей раз я не разглядел, как следует, если вообще что-то можно разглядеть в сгущающихся сумерках через волнообразные жерди забора. Над дреколями торчала лишь ее голова, светлые волосы на безветрии поникли, будто корабельные вымпелы в мертвый штиль. Зато мне открылись ее глаза. Шоколадно-карие, словно дорогие конфеты в золотистых гнездах праздничной коробки. Которые очень хочется съесть. Лучше вместе с хозяйкой.

– По делу или так? – с надеждой спросил я. До конца не решив, на что, собственно хочу надеяться. Если по делу, то вдруг надолго. А если не по делу, то зачем?

– Вот еще! – хмыкнула Лидка. – Мне Глафиру надо подлечить. Она кашляла всю зиму и весну тоже.

– То есть, цель поездки – оздоровительная? – не поверил я. – Но здесь же нет ничего. Даже врачей путевых.

– Да ну их, врачей. Одни расходы. Мне бабка сказала, мол, вези в деревню.

– Ваша бабушка? – не въехал я поначалу, простодушный человек.

– Почему, моя? Бабка Степанида, она у могилы Матронушки гадает, – Лидка сказала с таким чувством, будто та была ей родная. Ох, двадцать первый век! – И потом, у вас же, наверное, докторов полно?

Я в недоумении обернулся на свою избушку. Тупить, так уж в полный рост. Лидка захохотала.

– У вас, в лечебнице! – она тыкала пальцем то в мою сторону, то по направлению к холмам, после покрутила значительно у виска. – У вас здесь все такие?

– Не знаю, – я тоже улыбнулся. – Только в стационаре настоящих врачей нет, тем более детских.

– А кто есть? – тут уж смутилась она.

– Психиатры, психотерапевты. Вам же это не нужно?

– Еще чего! – по-моему, она обиделась немного. Совсем чуть-чуть. – Зато природа и воздух.

Я спорить не стал. Воздух как воздух, категорически не Домбай. А природа? Пограничная полоса. Между Древней Русью и Великой Степью. Мелкое редколесье и еще не вполне черноземное поле. Одним словом, Бурьяновск.

– Я и квартиру сняла. Думала с удобствами, оказалось – так себе.

Это, смотря что подразумевать под удобствами, сказал я в уме, остерегаясь произнести вслух. Вдруг еще больше разобидится. Но Лидку я вычислил. Коли упомянула квартиру, то снять оную можно было только в гуляй-поле. Так местные называли небольшую окраинную площадку, застроенную по периметру казенными двухэтажными блочными домиками. Во времена, когда Бурьяновск еще претендовал перерасти из поселка в действительный городишко. Жить там сперва было престижно, потом скучно, а ныне для местных зазорно. Потому что удельной земли не полагалось никакой, а ведь земля кормит. На голом бетоне ни картошку, ни петрушку не посеешь. Уж подавно кур не разведешь. Квартирки на гуляй-поле были маломерные, гостиничного типа – коридорной системы. Кухня-чулан в два квадрата, комнаты-пеналы – все равно, что обитать в дренажной трубе. Разве в преимуществах сортир, втиснутый в каморке, вместе с душевым краном над дырой в полу. Вот и все удобства, при условии, когда есть вода. Не просто горячая, а вообще есть. Соседи тоже не подарок, насельные ларечники и сезонные торговцы с Кавказа, один корпус негласно сдавался под общежитие для дальнобойщиков. Правда, где-то там обитал разведенный старлей Кривошапка, не больше не меньше, как игумен-надзиратель здешнего опорного пункта милиции, кроме него числившего в своих рядах ровно двух человек, верховное начальство нашему участковому Пешеходникову. Да и старлей тот праведным образом жизни не отличался. По слухам, с пьяных глаз каждую выход-

ную ночь буйствовал – вылезал на плоскую крышу и на всю округу орал песни, после чего матерно поносил бывшую жену и тещу. Вряд ли подходящая акустика для ребенка.

– Вам нужно было нанять дом, – как бы сочувственно прогудел я.

– Да, нет. Нормально, – она словно бы отмахнулась от моих слов, точно от доставучих мух. Сразу было видно – не из тех, кто любит поучения от посторонних. Я и не навязывался.

Мы поговорили еще о чем-то несущественном. Меня так и подмывало пригласить ее прогуляться вместе, но не в полуголом же состоянии. Вернуться в свою сараюшку и приодеться – эту мысль я откинул сразу. Отчаянно опасаясь, ну как она не дождется и сбежит? А так, хоть еще парой слов перекинуться. Впрочем, Лидка дала мне на будущее повод сама.

– А можно я к вам зайду? В вашу лечебницу? На всякий случай? – она чуть ли не стала оправдываться. – Чтоб знать. Это все равно, что у вас врачи не настоящие.

– Конечно, можно. С Глафирой вместе заходите-е! – я чуть не захлебнулся пенящейся надеждой счастья, будто подышающий с голодухи кот над миской бесхозной сметаны. Откинув на потом соображение, как я объясню ее визит Мао и той же Ольге Лазаревне. Ведь наше учреждение в некотором роде было и режимным. А-а, после что-нибудь придумается, беспечно подставился я.

– Лучше без Глафиры, она может испугаться, – озабоченно покачала головой Лидка. – А вы когда работаете?

– Я завтра дежурю в ночь, – сказал, и сам до конца не осознал, что именно произнес.

– Подходящее время. Так я зайду?

Я не мог поверить, и я точно решил, что ослышался. Она что же? Назначала мне свидание? Я посмотрел ввысь – растущее в черноту небо было на месте. Я посмотрел вниз – нагретая, сочная земля уверенной опорой ложилась под ноги. Ничто не перевернулось вверх дном. Значит, это происходило на самом деле?

– Да-да, когда вам удобно. Я выхожу с восьмью, после ужина. И до утра. Точнее до следующего вечера, – зачем я это-то сказал?

– Ну, я Глафиру уложу и приду. Она у меня соня, из пушки не поднять, – призналась Лидка. Что же, старлея Кривошапку вполне можно было приравнять и к пушке. – А как я вас найду?

– Я вас сам найду. В одиннадцать у ворот, – шарики и ролики бешено крутились в моем очумелом мозгу. Так. Кудря свой человек. Если надо, прикроет. В игровой есть диван – жесткий колченогий монстр времен мещанского домостроя, однако сойдет. На столько я не рассчитывал, но не вести же ее в процедурную! Опять придется кланяться Мухареву насчет «святой воды» или это мимо? Пьют ли барышни спирт? Сие всецело зависит от их темного прошлого. У Тони Марковой разжиться насчет огурцов и печенья. Ох, только бы Ольга не прознала! Ну и белуга с ней! Ради Лидки я был готов и на публичный скандал.

– В одиннадцать у ворот, – она повторила за мной, без всякой «нарочной» интонации, словно речь шла о свидании налогового инспектора с кассовым аппаратом рядовой шашлычной. И ускользнула вдоль забора, так же незаметно, как и появилась.

А я остался в обалдении чесать голое пузо.

Не стоит так уж преувеличивать мою наивность. Или житейскую неопытность. Со всяким может приключиться внезапная дурь. Или любовная лихорадка. Или незапланированный взрыв на гормональной фабрике. Я много чего знал, и много чего повидал. Для своих лет, конечно. Врать не стану, дворец Амина не брал, на чеченских высотах не загорал, на больших дорогах не грабил. Но и себя в обиду не давал. По крайней мере, старался. Наверное, настала очередь рассказать кое-какие начальные «повести временных лет» из следующей персональной истории. На сей раз из моей собственной. Слушайте, если есть охота.

БРОНЕТЁМКИН ПОНОСЕЦ

Южным людям вообще на севере плохо. Не из-за погоды, хотя, конечно, и она тоже. Под южными людьми я разумею отнюдь не лиц кавказских или среднеазиатских национальностей. А просто людей, по воле случая родившихся или с малолетства проживавших в южных областях, по новомодному выражению, губернаторствах советской империи. Русским в этом смысле приходится особенно хреново. Потому что, как правило, в северные пределы они отправляются в единственном числе, отнюдь не сплоченными родственными кланами. На учебу, на работу, или в поисках лучшей доли. Им кажется, нет у северных людей привычной душевной открытости и теплоты, будто мелочные скопидомы: скудные столы, негостеприимные углы, пришел и ладно, ушел – никто удерживать не станет, пропадешь пропадом, не заметят даже соседи. Иной быт определяет иное сознание. Южанину скорбно от неуютя до морозных мурашек. Но все равно едут. Это отчасти миф, будто природный русак исключительно общинно-колхозный человек. Я бы сказал – коллективный одиночка, так вернее. По моим личным наблюдениям и некоторым непрямым историческим изысканиям скорее бунтарь-бродяга, вынужденный в силу необходимости плотно кооперироваться с соседом. Иначе не прожить. Но все равно лучше сбежать на простор при первой удобной возможности. Мужик умен, да мир дурак – это про нас. В толпе мы попросту теряем личность, а не сливаемся в единое целое, в противоположность как западному, так и восточному складу. Делаем, что прикажут, и шествуем, куда поведут. Точнее плывем, куда вынесет, будто щепки на стремительной воде. Но оказавшись наедине с собой, всякий раз задаемся мудрым вопросом – а нафига вообще оно было надо? По преимуществу, когда думать уже относительно поздно.

Теперь посмотрите, какими стройными рядами наступают и выступают наши заграничные, давно и кругом цивилизованные порицатели. «Все культурненько, все пристойненько», что ни селение, то цитадель, для анархистов неподатливая. Что ни средне классный многоквартирный дом, то строго расписанный с умом порядок: кто, когда и где, и никаких шагов вправо, влево, на месте без провокаций. Сколько положено на семью детей, авто и собак, столько и заведено, и нет возражений. Чья очередь мести дорожку, тому и метла в руки без освобождения, да это и не приходит в голову. Чуть кто на подозрении в неблагопристойности, ба, откройте, полиция! А затем по-прежнему мир, дружба, жвачка. Потому что, обижаться не принято, закон, этикет и устои – святое семейство! У нас, заметьте, наоборот, совместное обитание – весело проведенное время. В судах, распрях, мелких подлянках и в купеческих заскоках «ндраву моему не препятствуй». В общем, радужная воронья слободка. Русского человека сели хоть как. Хоть в коммуналках «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная», хоть в элитных барвихах и жуковках, с тремя золотыми унитазами на каждом этаже. Все равно в итоге одна несытая, нескончаемая подковерная грызня, порой переходящая в открытую драку, но главное – в удовольствие. Сегодняшние недруги, вволю налаявшись меж собой «чей дверной половичок на валюту стоит круче» – а ну, гони, сука, назад, это мой с полоской впоперек, у твоего уголок гнутый, – завтра кооперируются совместно, дабы притопить третьего – ему, ишь ты! Мешает дрессировка слона в три часа ночи! А тот в отместку на началах взаимопомощи привлекает вчерашнего врага, клятвенно обещая, что послезавтра, непременно! поможет оттягать кус соседской канавы – для разведения головастиков на продажу, да, да, какой шут сказал нельзя? Еще как можно! И карусель разбегается на следующий круг.

А почему? Потому что быть одинаковыми нам скучно. В отличие от любого нормального иноземного сапиенса, которому неодинаковым быть страшно. При крайней степени индивидуализма крайняя же степень жесткой социальной зависимости. Каждый должен быть встроен на свое место, как транзистор в схему, и каждый должен обитать в своей ячейке, как при-

мерная пчелка-хлопотунья. И никого не надо насильно загонять кайлом в светлое будущее. Будто патроны в пулеметной ленте, четко друг за дружкой, но у всякого своя смерть. Напротив, излюбленный русский национальный вопрос-подвох: «Если все с крыши прыгать начнут, ты тоже станешь?». И любимый ответ: «Еще чего!». В смысле, я сам по себе, отдельно от других, живу своим умом, и никто мне не указ, кроме разве идейных абстракций, которые издревле обожали брать к руководству на Руси. Чем чуднее, тем уважительней, вплоть до откровенного кликушества – с партийных трибун или с церковных папертей, разницы нет. Тем более со спонтанной юродивостью борись не борись, прорастет, как сорная трава, иначе откуда бы наш мирный блаженный стационар № 3,14... в периоде. У западных и сильно восточных «культурных» народов не то. С вопросами там туго, зато есть оглядка. «Чой-то я сегодня не в форме. Не вполне с общепринятым. Надо срочно бежать за помощью к психологу (к далай-ламе, к папе римскому, к лицензированному гуру, на массаж, на тренинг, на гильотину, лишь бы деньги-товар)!». Чтоб подсказал, как правильно завести семью, друзей, начальство, любовницу и чирей на заднице. Потому что, чирей тоже «должен быть как у всех». Гвардейский швейцарец должен быть швейцарцем, а не бабником, монахом, святым или пьяницей. Бомж должен быть бомжом, а не диссидентом Бродским. Если ты мужик, паши землю, а не лукавь на манер Гришки Распутина перед самодержцами. Если вор, сиди в тюрьме, а не в Государственной Думе. Так-то.

Иначе говоря, у нас человек с человеком действием вместе, а сознанием врозь. Коллективизация тел, и только потом, через силу, – индивидуальных умов, так, чтобы хребет об колено, и всегда неудачно. Оттого присуща русаку внезапная созерцательная задумчивость, особенно при разверзающемся звездном небе, – нахлынет, будто оползень сносит задремавшую деревню. И как следствие, тяга к перемене мест, отдельному странствию, именно, что хождение за чудом. Подумаешь, за три моря, а слабо на дно «окияна» с гусями от зеленой тоски? За три моря тоже, не Марко Поло ходил с четкой деловитостью, где, сколько и почему? Но сладкоголосых птиц повидать, а коммерция вроде как уважительная причина. Соседи же наши напротив, думают по трафарету, только живут врозь. И все равно гладко-похоже, хоть бы и в раздельном быту.

Витают еще кухонно-кулуарное мнение, будто Россия вечная прослойка между востоком и западом. Как забористая начинка между двумя половинами слоеного пирога. И не прослойка, и не начинка. Но только природа не терпит пустоты. Это ее закон, а против закона, – природного, разумеется, – не попрешь. И не обманешь. Если есть народ-домосед, народ-кочевник, народ-воитель, народ-труженик, народ-дармоед, народ-расист, народ-бестолочь, народ-избранник, то почему же не быть народу-бродяге? Необходимо даже. Я порой в шутку придумывал, что и крепостное право задержалось на Руси столь долгим гостем вовсе не из-за державной отсталости. А попросту иначе разбежались бы все, кто куда. От земли, от сохи, от жены – за вольным ветром, за синей птицей, за моровой язвой и холерой. Ладно бы и впрямь, уподобились американским рейнджерам ради отвоевания новых халявных пространств и хозяйственного усердного роста. Куда там! Освоение Сибири! Ермак Тимофеевич! Ерофей Хабаров! Кончено, было и освоение. Признаться, на мой взгляд, попутное. И столь удачное, что по сию пору добрая часть той Сибири стоит необжитая и нехоженная. А сам народ шляется туда-сюда. С запада на восток трамбовать БАМ, смущать плотиной Саяны, окучивать тихоокеанского краба, кто поумнее, непременно посреди тайги заселять академгородок. Как будто в своей родной земле прямого дела не хватает. С востока на запад, с севера на юг и обратно, та же история. Учиться в Москву – обучать на Ледовитый океан, хоть бы и тюленя. За флотскими погонами в Питер – служить на Кушку, плевать, что моря нет и в помине. А после трудов тяжких на тюменской буровой – непременно особнячок с клубничной грядкой под Туапсе, пропади он пропадом все равно тоска, и снова на сургутские месторождения – вербовка по вахтовому

методу. Нет, чтобы все как у людей в граждански-сознательных палестинах. Мир посмотрел, себя показал, лишнего ума набрался, и айда домой. Для всемерного благоустройства оного.

Потому что дома никакого нет. Где ты сейчас, там дом. Который легко махануть, не глядя, на любой другой. Ради престижа, ради пожалования с царского плеча, ради переменчивой удачи, ради голого любопытства. Вот и пошла молва, будто российский человек, он неприка-
янный, а это всего лишь естественный отечественный образ бытия и связанного с ним само-
сознания. Ни плохо, ни хорошо, но так есть.

Я тоже был из своего рода шатунов. Вольных или невольных, не мне о том судить. Как раз домик наш, именно что с клубничной грядкой, стоял у самого синего моря. Точнее, у Чер-
ного. Земля обетованная, курортный Синеморск, Геленджикский район, лафа и пляжный уют. В хвойно-лиственном парке по ночам противно кричат павлины. Пансионаты полны круглый
год, это вам не нынешнее Мутное время, это старорежимное партийно-барское. Отпуск по
графику, отгулы по расписанию. Кто не попал в лето, до уссачки рад профсоюзной путевке
и зимой, а ранняя осень вообще бархатный сезон. Не искупаться, так поглядеть на воду и на
акацию, и даже залезть можно на последнюю, если не видит никто. Не загоришь под лютым
солнышком, но и не замерзнешь, опять же, нос не облезет. Потому советского народу, привык-
шего во всем искать положительную сторону, всегда хватало в избытке.

Мама моя, Любовь Пантелеевна, в нашем курортном раю считалась, как принято гово-
рить нынче, в авторитете. Служила не за страх, а за совесть санитарным инспектором, в под-
чинении два дома отдыха, полдюжины общественных столовых и еще отчего-то за ней был
закреплен магазин спорттоваров. Брала, конечно, не без этого. Но борзыми щенками, налич-
ными никогда. А что делать? Зарплата сто десять рэ. Я малолеток и дедуля на копеечной пен-
сии, пойдя, покрутись. Ребенка подними, старика-отца достойно обиходи. Краснела, но брала.
За то и уважали, что краснела. Люди всегда чувят, когда не от наглости, а по нужде. И то,
закрывала глаза на упущения мелкие, из устаревшего регламента, но случись серьезная про-
машка, тут уж спуску не давала. «Я вам не позволю каменный век разводить!», любимая ее
была присказка. И все знали, если так сказала, с концами! Сливай свет и туши воду!

Отец у меня тоже существовал где-то. Вот уж кто из бродяг бродяга, да простится ему
все, если помер, и да припомнится на этом свете, если жив. Мне годика четыре было от роду,
когда подался он в Мурманские края на добычу никеля, дескать, за «блинным» рублем, это он
хохмил так. Какой там длинный рубль, длинный язык у него точно имелся при короткой мозге,
это вернее. Устроился учетчиком, а куда еще! Здоровенный мужик, но пусторукий, что твой
полтергейст. Короче, Емеля, только без щуки. Мать рассказывала, не то, что гвоздь забить,
стакан налить не мог, не разбив. И профессия какая-то дурацкая: специалист по городскому
озеленению. Самое востребованное ремесло на цветущих берегах Баренцева моря. На что мать
позарилась, она и сама не знала. То ли на телесную статью, то ли на умение развешивать ушную
лапшу – на это батя был мастак. Но всегда говорила об отце следующее: «обманка, не человек,
как тот котел, в котором все кипит и ничего не варится».

Первые несколько лет отец присылал нам некоторые деньги. Не щедро, но и не по-нищен-
ски скудно. Видно, отдавал большую долю из того, что имел сам. А имел немного, хотя бы и
на северной жиле, которая настоящих-то работяг от пуза кормила. Это тоже проясняло для
понимания его человеческую сущность, никакой иной характеристики не надо. Потом что-то
произошло. То ли покрыл чужой грех, приписал где, не следовало, – под бутылку и «ты меня
уважаешь» вполне мог. То ли наоборот недоучел и обидел сильного недоброжелателя, а вдруг
и подставили его. Отец мой, судя по всему, был, что называется, лучистый лох, – его только
ленивый бы не облапошил, – из тех «сладких» бедолаг, что в наперстки продуваются до трусов
и после ставят на кон золотой зуб, а назавтра еще плетутся с казенной деньгой отыгрываться,
и ничему их горе не учит. В общем, завели на батю уголовное дело. О том и сообщало его
последнее письмо. А дальше – сгинул неизвестно куда. Народного суда дожидаться не стал,

усвистел в неизвестном направлении. И правильно сделал, с его «сиротским» везением непременно закатали бы на полный срок. Милиция приходила, спрашивала мать, больше для проформы. А что ответить-то? Не был, не знаю, вестей не получали. Пытали натихушку и у меня, мол, не приходил ли какой дядя? Думали, по возрасту я не мог хорошо запомнить отцово лицо. Я и ляпнул, что приходил. За матерью как раз увивался здешний ответственный секретарь горсовета, женатый бодрячок, но не противный. Он и заглянул накануне под вечер с визитом, принес арбуз размером с батискаф и банку дефицитного балыка. Мать, что делать, подтвердила. Служители щита и меча на слово не поверили, что закономерно, но проверить, проверили. Шуму вышло! Нептун, наверное, пробудился с криками ужаса в своей пучине. Короче, государственным людям по шапке, визитера-бодрячка сослали в окрестности Темрюка руководить сельсоветом, а матери ничего не было. Оставили в покое. А что до отца, в нашей жизни он далее никак не присутствовал. Взял, что называется, самоотвод.

Я с детства рос не то, чтобы независимым, но самостоятельным, отнюдь все же не как сорная трава. Это была особенность моего характера, тогда уже проявившаяся, хотя еще не осознаваемая разумно. Я вечно считал себя в долгу. А уж перед кем или чем, всегда сыскивалось. Матери и на ум не приходило попрекать меня, не дай бог, куском хлеба, поломанным велосипедом, испорченной одеждой, а ведь на пацанах все горит. Я как-то сам. Себя попрекал. Охает хворый дедушка, а рядом мама считает и прикидывает, на то, на се. Совестно. Инициативы особой я не проявлял, я и сейчас больше отзываюсь на события, чем вызываю их – словно крепкая ходовая часть машины, но без двигателя. Все порученное выполнял с усердием. В школе без двоек, на улицах без драк, да и некогда было куролесить. На мне сезонной барщиной лежали мелкие домашние работы и огород. На юге огород знаете что такое? Ни черта вы не знаете, если сами не впрягались. Это вам не среднерусские дачки с картофельной делянкой и грядкой петрушки. Это настоящий подсобный доход на шести сотках, и ни единая пядь земли не расходуется напрасно. Рассады клубничная, помидорная, огуречная, а там кабачки, баклажаны, болгарский перец, всё в свою очередь. Груша, яблоня, неумное абрикосовое дерево, едва лето на излете – под ним оранжевый ковер из падалицы, не зевай, подбирай на варенье. Еще вдоль забора колючая, с прелым душком малина, едучий хрен в полсажени, свекольные корнеплоды, которые в наших краях прозывают буряками, кислятина-щавель и лоза несортовой «изабеллы». Все это надо полоть, окучивать, прореживать, обрезать, удобрять, поливать, собирать и перерабатывать на зиму. Одних ведер воды перетаскал несчитано. Из шланга, говорите? Так то не лимузины мыть. Своя мера под каждый кусток отдельно назначена. Если на клубничную, нежную посадку хлестать струей, знаете, что будет? Каша из ботвы, а не ягодный урожай. На свиноферму, с мешками и тележкой на колесиках тоже я. Зачем? А за тем самым, за навозом, то бишь. На руку перчатку, нос попервой взажимку, и пошел сеятель доброго и вечного, с мудростью здесь не определено пока. Нитраты пусть в совхозах сыплют, у них богато.

В школе я тоже попадал из огня да в полымя. По общественной нагрузке. Подобных мне вообще зело любили завучи по воспитательной работе и ответственные «комсюки». Я и сам к году выпуска стал таким «комсюком». И карьеру свою начал прямо с самого верха, не классным старостой, туда призывали первые несколько лет одних девчонок, но был назначен «станционным смотрителем» за всеми октябрятскими звездочками 1 «В». Лихо горланил по красным дням календаря свою стихотворную часть монтажа об обоих Ильичах, и их присных, примерно отбывал дежурства и даже ходил в кружок выжигания по дереву. Понятно, к пионерскому возрасту меня без меня женили – околачивать груши в совет дружины имени пионера-героя Вити Черевичкина, может, слышали? «Жил в Ростове Витя Черевичкин, в школе он отлично успевал...», или как-то так. Поскольку груши я околачивал исправно – доклады о Малой Земле, сам после ездил туда почтенным председателем совета уже другим неوفитам повязывать красный галстук на фоне мемориала Цемесской бухты, – в комсомол вступил одним из первых. Замечу, жизнь в качестве школьного активиста мне вовсе не казалось омерзительной. А как

бы сама собой разумеющейся. Здесь можно было сполна раздавать долги, какие еще остались. Особенно после смерти деда и моей неудачи с инопланетянами. Я ни в коей мере не считал, будто бы усердные труды на ниве общественно-идеологической пользы должны быть хотя бы отчасти приятны. Напротив, чем муторней, тем лучше, ибо..., ибо... Ибо так я искупал если не грех, то собственное пребывание в мире, в котором подле меня никто не существовал легко. Значит, и я не имел такого права.

Я вышел покладистым комсоргом, потом секретарем школьной первички, по совместительству членом учкома. Меня избирали безоговорочно, оттого что больше некого было, и оттого, что весьма всех устраивал. Делал, что велели. А что не велели, не делал. Сказано, провести субботник – будет исполнено. Сказано, осудить и исключить – хоть вчерашним днем! Я думаю, что, если бы в ту пору мне отдали приказ расстрелять, я бы не ответил возмущенной отповедью, а стал проводить добротную организацию казни врагов народа с последующей агитацией. Солдат не виноват, служба такая.

Знал ли я, что творил? Еще как, не обольщайтесь. И мне это казалось нормальным. Потому что норма – всегда то, что общепринято, общедобро и общеутверждено. Неважно хорошо или плохо. У любых норм, правовых, гражданских, политических, совсем иные критерии оценки. Даже не полезно-вредно. Подобные категории тут вообще не применимы. Потому что, их не к чему применять. Если большая часть общества договорилась – будет так, а не иначе, то смешно словесно оспаривать договор. Тут возможны лишь две линии поведения, или-или. Или подчинение, или война не на живот, на смерть. Что бы мы ни сказали, это будет всего только слово, а когда начинается «борьба за правое дело», начинается кровь. Единственное, чего реально боится сытое меньшинство. Однако коммунистическая идея была хороша. Я так полагал, если исполнение поначалу из рук вон, то не бросать же на полдороге? На ошибках учатся. Особенно на тех, за которые плачено невинно загубленными судьбами. Иначе, неужели как раз к этим самым загубленным, и в итоге всегда крах.

Еще я стремился дружить с девушками. Со многими и разными. Но безобразий не допускал. Да и не прошло бы даром в нашем солнечном Синеморске, где всё у всех на виду, даже тайный стыд. Это тоже одна из особенностей южной жизни. Смотреть смотри, но трогать не смей. Кумушки у каждой калитки, строгие матери – чуть что, сразу за косу и за скалку. А если уж потрогал, женись непременно. Молодежь собиралась стайками больше по территориальной принадлежности, галдела, сплетничала, мальчишки покуривали, девчонки старались, «чтоб на них не тянуло», пропахнет хлопчатая ткань, не выветришь, и дома непременно заругают. Иногда украдкой давились рублевым, якобы грузинским, винишком, хвала абхазским сопредельным территориям, что не портвейном «три топора». Прекрасно помню, как хлебнул впервые в двенадцать лет – старшая сестра тогдашней подружки, года два разницы, вместе с кавалером-восьмиклассником угощали. Блевали всей компанией, но мне казалось, что я претерпел больше остальных, оттого еще, что зачем-то запивал «сухарь» хлебным квасом. Отшибло надолго, но, конечно, не навсегда. Навсегда можно позабыть только первородную трезвость, но не краткосрочное веселье, испробованное на вкус.

Влюблялся в подружек я через раз на третий. То есть, в каждую мало-мальски симпатичную мордашку и с благоговением. Но везло в ответ мне редко. Вроде и светлый чубчик кучерявый, и фигура, и крепкое плечо – опирайся, сколько влезет, и даже романтически ухаживать умел, никогда не забывал тиснуть с чужого надела пук георгин или пионов, смотря по сезону, или пару-тройку ватрушек из школьной столовки. Считалось, что подобное внимание девчонкам приятно. Уверен в этом по сей день, хотя у меня нечасто срабатывало. Но вовсе не потому, что ухаживать красиво – выброшенное на ветер время, а потому, что я был, как бы это выразиться поточнее? Я был слишком хорошим, что ли? Учком, комячейка, выглаженная бумажная речь, примерное поведение. Все это при влюбленности противопоказано, как сахароза диабету. Со мной, наверное, находиться было скучно. А скука убивает даже те ростки взаимно-

сти, которые еще не проросли. Мне вежливо отвечали сначала колебанием, потом решительным отказом. И женский юный пол устремлялся дальше по предустановленному гармонией течению, которое и прибывало его непоседливых представительниц к тем пацанам, кто похулиганистей меня. Обидно, но ничего не поделаешь. В глаз я, понятно, легко мог засветить кому угодно, комплекция позволяла, но это если разногласия по принципиальному вопросу, не ради ухарского выпендрежа. Тем паче, не станет правоверный комсорг из-за загорелых пухлых коленок и укороченных тишком юбок публично сквернословить, бузить на уроках или на спор малевать вождам пролетариата усы. О-о, голые загорелые коленки! Уже тогда были моей страстью. Правда, временно бесплодной.

Зато из-за чрезмерной влюбчивости я сильно никогда не страдал разочарованием, да и вообще сильно не переживал. Когда-нибудь, когда-нибудь! Найдется та единственная, которая поймет и оценит. Она будет пылкая комсомолка, круглая отличница и белокурая красавица. Качества, между собой органически не совместимые. Но я, жаждавший идеала подросток, не знал об этом, и любимая кинолента уверяла в обратном. За тем исключением, что блистательная Наталья Варлей была подчеркнутой брюнеткой, а не крашенной платиновой блондинкой.

Вы, наверное, в глубинах неосознанных, ожидали детального рассказа о первом падении и непотребстве на задворках в тиши сонных улочек. Должен вас разочаровать, до армии я остался таким же нетронутым девственником, как Христос на своем последнем кресте. Да если бы даже и не остался. Терпеть не могу. Терпеть не могу грязных, пространных повестей-помоев со смачными масляными подробностями. Ни в литературе, ни в жизни. И ни капельки не уважаю ни тех, кто их пишет, ни тех, кто говорит. Потому что, это похвальба собственной пустотой, и глумление над тем, кто слабее. Над женщиной, девушкой, ребенком. И взаимообразно рикошетом над собой. Тем более, ради копеечного успеха. О романе или случайном перепихоне все равно не получится умолчать в сочувственно дружеской или даже в приبلудной компании, никто не святой. Но должна быть мера. Пограничные столбы которой – отвечай за себя, и не вали на другого. То есть, на другую. Не под пистолетом ведь! Не понравилось или потом стало тошно, так и скажи, ошибся в своих желаниях, это нормальная вещь, биологически оправданный отбор. Но зачем же грязнить? Что и каково устроено пониже пояса, и кто чего кричал, и как у нее все противно. Будто у тебя самого райские яблоки вместо яиц. Как мы дышим, так и слышим. И также пишем. Перефразировал, но все равно, спасибо, Булат Шалвович. Вот кто бы ни единой, смрадной строчкой не осквернил земной воздух – неземной человек. И я не стану. Эстетика последняя заповедь, доставшаяся нам от древних, и единственно истинная. Все на белом свете прекрасно, даже то, что безобразно совсем.

Худо, однако, лишь, что куда ни плюнь, попадешь в писчебумажное или подвскивающее в такт звуковое непотребство. Не лицо, морда. Крашенная стерва, без штукатурки просто дрянь. Не тело, кладбище жира, целлюлит, обвисшее желе. Скелет, напичканный силиконом. В голове куриный помет, достала, тварь. Умничает много, лучше бы шла на кухню. Вместо сердца корыстная жаба. Такая дура, последнее отдаст, лишь бы заманить, тьфу! Это мы о них. Не все, но многие, прирабатывающие пером, обиженные на недостатку в жизни. А я воздержусь, кто хочет похабщины, пусть читает надписи в туалетах. Мне порой было интересно, если бы наши дамы также решились на искренность, без вечной жалости к нам, малоумным дохлякам? Чтобы написали? Пивное пузо, отрывка и пердеж, вонючие бесконечные носки, волосатые, никогда неухоженные ноги, пробивающаяся лысина в липкой перхоти, грошовая жадность, жестокость без повода и до одурения бахвальство, нежелание слышать никого, кроме себя? Трусость второе имя? Что угодно, лишь бы поменьше работать? Мама делала не так? Нюхать пеленки, ну нет, это без меня, я разве просил? (Вырастет, так и быть поиграем немного, раз в году проверить дневник). Да кучу еще всего, не хватит места. Хорошо, что молчат.

У меня, однако, была мечта. Из тех, что парят в воздухе. И не раздражается особенной трагедии в случае ее неосуществления. Я хотел во флот. Не то, чтобы связать судьбу. Вырос у

моря, плавал как дельфин, правда, самоучкой, всю жизнь видеть перед собой воду мне вовсе не представлялось счастьем. Но мне до зарезу нужно было скорее в армию. Чтобы потом прямиком в Кубанский университет на юридический. Без этого только немыслимый для нашей семьи блат, иначе не возьмут, хоть с какой рекомендацией, подумаешь, рядовой «комсюк», никто! Именно оттуда, с правоведческого, мне мыслились пути в справедливость. Пусть и с компромиссом. Я тогда еще привычно озарялся надеждой, что компромисс возможен всегда, моя активистская юность будто бы шла в зачет этого заблуждения. Целый год, остававшийся мне до армии, я вкалывал разнорабочим в филиале дорожно-строительного управления, наловчился с нарочито зверским выражением лица остервенело раскидывать лопатой жгучую асфальтную массу, аккуратно перед прущей по евклидовой, кратчайшей прямой гладкой тушей катка. И как премиальный довесок – виртуозно материться, не в видах оскорбить кого-нибудь, но для облегчения сугубо пролетарского, потогонного труда. Пищал, конечно, потихоньку, не без этого, особенно на первых порах. От кровавых волдырей на разбитых ладонях, от поясничной ломоты – процесс окисления в мышцах шел с чудовищной скоростью, от лающего кашля – чад и копоть, сплошная черная месса вокруг кипящего котла. Но перемогся, ничего. Мог бы. Мог бы – пионервожатым в родную школу, даже старшим, и зазывали сильно. Или в курортное бюро, носить бумажки по кабинетам. Но, шалишь! Девчоночья работа, мне казалось зазорно. Будто бы опасался косых взглядов, и хотелось представить, как это я и вдруг щедрый кормилец семьи. Отлично помню и гордую душевную радость, когда с первой полочки, довольно сытной для новичка – на половинной ставке, больше не имели права по КЗОТу до достижения полного совершеннолетия, – купил с рук у местной спекулянтки Зары, и по ее совету, кстати, густосинюю французскую тушь в нарядной коробке (не бог весть что по иным меркам) и вручил матери. Без слов. Но мама отчего-то заплакала, а я решил, будто совершил несусветно глупый проступок – надо было все, до копейки отдать в дом, а не самовольничать, – и оттого расстроился. А мама долго и виновато суежилась потом вокруг, и мне было стыдно собственной тупости.

Призыва я не страшился. Я воображал себе. Свежевыстиранная тельняшка, закатаны до упора рукава, с ухарским присвистом летает швабра над палубой, даже разящий тычок от боцмана в удовлетворение, какой моряк без тяжелой школы жизни? А потом наградной берег, и мы идем увольнительной толпой, и девчата штабелями, и никогда не стыдно за прожитую юность. Даже если не приключится особой романтики, кому, как не флотскому, легче всего присказать о себе. Я надеялся, с моим-то послужным комсомольским списком, военком снизойдет лично, и зачислят на Тихоокеанский, на Балтийский, возле дома служить не принято, хоть в Североморск, лишь бы черная форма, лишь бы не унылый сизо-зеленый цвет с неистребимым грязевым оттенком. Сгодится и берет морпеха, все равно близко, я здоровый долдон, почему бы нет? И я, вечный дурак такой, попросил. Не военкома, конечно, кто бы меня пустил, а какого-то третьего помощника заместителя. О своей мечте: просоленная бескозырка и ленточка в зубы, пулеметное причастие туго на груди крест-накрест, хлопающие клеши и вечная память, как положено по Сергею Эйзенштейну с расстрелом и коляской на потемкинской лестнице. Расхлябанный сморчок посмотрел на меня, из рассеянно-ненавидящего его взгляд стал служебно-собачьим, он внимательно прочитал характеристику райкома комсомола – все, чем могли и захотели помочь, – потом опять взглянул на меня. Я еще не понял тогда, что мечте труба. Я попал.

Сначала под Ашхабад в занюханную группу политпропаганды для погранвойск. Много ходили строем, на завтрак брошюра «Учетная работа с рядовым составом». На обед кошерный талмуд-методичка «О повышении уровня сознательности советского бойца». Полсотни предполагаемых дебильных вопросов, типа, «почему служба на государственной границе наиболее почетна?», и не менее убогих ответов о мирном сне колхозников и работниц, образец утвержден чуть ли не наркомом Менжинским. Но это ладно, это сойдет, армия не Гарвард,

лишь бы прописано было четко. Но вот вместо желанной флотской учебки – в бурсу для ротных дьячков! Ломкая, колючая жара, воды только-только в блюде, на вид и на вкус отдает мочой, оторопь от вечного солнца, чужая марсианская земля, будто мы тут пришельцы-завоеватели, лютое мучение – сапоги, трескающаяся кирза. Однако это оказалось еще полбеды. Очень скоро мной, как примерным слушателем, заткнули внезапную дыру на фельдшерских курсах (кто-то по пьянке угодил в штрафники, чуть ли не на второй день, удалец) – я еще не знал тогда, что пригодится, и упирался, как мог – приобретение навыка втыкать клизмы в солдатские зады, слуга покорный. А мне пеняли, да ты что, такая халява, не бей лежачего. Одно только и случилось хорошее – медсестра Ираида Ивановна, учила меня ставить капельницу в вену, на подушке нарисовала и учила, а я вставил, да еще как! Сам не ожидал, прямо про rvalo, вспотел, как свинья. На улице сорок и во мне вспыхнуло сорок, не меньше. Думал, все, прибьет, и под трибунал. Оказалось, прелестная женщина, пухленькие коленки, мама! Только посетовала, зачем так грубо? Пришлось сознаваться, что в первый раз. Делать нечего, горе мое, заодно уж и этому научу. И научила, спасибо ей, на добром слове. А в виде бесплатного приложения, как правильно дуть неразбавленный спирт, и чтоб не стукнуло сердчишко в здешнем сковородном пекле. Водкой нужно вдогон запивать, а прежде кусок сливочного масла, на него уж принять, здесь вся хитрость. Важно соблюдать пропорцию и знать меру. Но на боевом посту ни-ни! Для виду была шибко строгая. Все равно клистирная служба стояла поперек горла. Казалось, как-то мелко, не по росту, а хотелось ввысь. Или вширь. Вырвался еле-еле через год, опять по комсомольской линии – по совместительству с больничными горшками оформлял любительски стенгазету, и удачно, выиграл конкурс «Красной звезды», потому – никому больше очень надо не было. Угодил в листок на «Боевом посту!», город Фергана, сосватали, выменяли, выкрали, как крепостного, бумагомарание вместо настоящего дела, там и доковылял до дембеля. Десяток агиток «Не дремлет враг, и ты, боец, не спи!», отзывы на солдатские беспокойные письма, что, если враг все же попреет, сам сочинял и за праведных вояк, и за хлопотливых ответственных деятелей, однажды шестеркой организовывал банкет в честь прибытия Поэта, лучшего недруга атомной бомбы. Даже автограф выпросил, вклеил в дембельский альбом, у меня упомошательный был, и все вранье: и со знаменем – выезжали по заданию в часть, там и прихватил; и с автоматом – ненастоящий муляж, у внештатного фотографа, кто бы мне в редакции взаправдашний дал? Зато красиво.

Главный сюрприз ожидал меня под конец. Немыслимый, как для завшивевшего полярика баня, воспарившая миражом на месте опостылевшего одинокого вездехода «пингвин». За шкурку к главному редактору, думал, натворил чего: свирепый глаз, подполковничий погон, «еще» с четырьмя ошибками, но дело он знал. Ошарашил, конечно. Получена разнарядка. Так и так. Приказ есть приказ. Слава богу, в армии, не то вышло бы мороки. Своих жалко, да и не хочет никто. А с вышестоящими не поспоришь. Для усиления морального облика и наглядного примера, что за ерундистика? Оказалось, одно место по направлению, отобрать из зарекомендовавших себя. Философский факультет МГУ, подполкан произнес с отвращением, будто его самого приглашали на гомосексуальную оргию. Но ничего, ты парень крепкий. Радуйся, что не в имени Патриса Лумумбы, оттуда тоже в позапрошлом году разнарядка была, ну, да ты по пятой графе все равно подкачал. Вот если бы таджик или тунгус, другое дело.

Так я оказался в Москве. Лимита по комсомольской путевке. Южный одинокий человек на севере. Но это уже немного другая история. Куда печальней первой. В другой раз доскажу на своем месте.

* * *

Весь вечер я маялся. Темнело заведомо поздно, календарный счет только-только перевалил за Ивана-Купалу, восемь часов, половина, девять, и все нескончаемый день. Назойли-

вое солнце, словно нарочно, торчало над горизонтом, как если бы ухмылялось дразнительно – жди, жди, авось, дождешься! Обещанного три года ждут. И оттого, что долго было светло, мне казалось обманкой само ожидание. Так бывает, к примеру, при посещении древних, значимых в истории руин, о которых с детства мечтал. Вдруг на тебе! На развалинах Карфагена оптовый овощной рынок, или аляповатый супермаркет, вроде бы и руины тут как тут, а все не то. И непонятно в чем больше притворства, в прошлом или в настоящем, одно убивает другое. Со мной случилось похожее. Какие дыхательные надежды при свете дня? Особенно если при этом воображал благодарную ночную тьму.

В игровой, по совместительству воспитательно-организационной, смотрели телевизор. Маленький, кабинетный экран, Мао приносил каждый раз к новостной программе «Время» и также аккуратно после забирал. Не из режимной жадности, а больше никто ничего не смотрел. Сериалы среди наших пациентов не пользовались уважением, а различные токи-шоки были им попросту скучны. Одни лишь новости казались кривозеркальным окном в не менее кривозеркальный и страшливый мир. В эти полчаса мы не докучали настоящим обитателям нашего скорбного дома, надзирали краем глаза до прихода главного, отдать болтливую коробку и всех делов. Мне тем более не хотелось крутиться на виду, опять я вспомнил, что запомнил. А если бы Мотя спросил? Лгать ему было противно, сказать правду, будто ударить в грязь лицом. И я, что называется, косвенным образом «отправился в бега», расположился в коридоре у открытого настежь окошка, навалившись спиной на заградительную решетку, небось, выдержит. Дымил папирсой, разгоняя, усердия ради, никотиновые облачка ладонью. Рядом со мной стоял Кудря, будто наливная статуэтка Оскара. Бесчувственно сложив руки на крутой груди, он созерцал уплывающий к закату пейзаж – дохлый луг, на котором Бурьяновские ста-рухи по теплему времени пасли непоседливых, капризных коз, давно уж не дававших молока – так просто, ради компании, не сдавать же Христа ради на живодерню? Я даже знал наперед, какую именно словесную реплику подаст мне Кудря, насозерцавшись вволю. Ее он и произнес, отринув задумчивость, словно дежурный постовой совесть:

– О, поле, поле! Кто тебя усерил? – и с удовольствием вздохнул, Петросян доморощенный.

– Известно кто, – привычно отозвался я. Чего ж не порадеть родному человечку? Все-таки напарник. – Трагос доместикус. Козел одомашненный, – перевел я безбожную мешанину с языков латинского и греческого. Но Кудря важно закивал, дескать, шутка удалась. Одна и та же всегда.

– А в ФДК танцы, – с укоризной неведомо в чей адрес вздохнул Кудря. (ФДК – ненужная пышность. Фабричный Дом Культуры, бетонная коробка невообразимой казенной убогости).

– Да ну их, по такой жаре! – утешил я солидарно страдальца.

Дескать, не много и пропустил. Топтаться в душной толкотне без очевидной надежды подцепить девчонку: которые посимпатичнее давно «приносят с собой», в смысле приходят с заранее приобретенными кавалерами. Которые изнутри много лучше, чем снаружи, вроде как не требовались самому Кудре. Да у него своя зазноба имела. Марина. В районных «Клопах» изучала бухучет в переделанном из профтехнической бursы платном колледже. Недалеко, но все-таки. Кудря ощущал некоторое несправедливое одиночество. Отсюда и возникли танцы. А также озвученная невозможность их немедленного посещения как обида на коварную действительность. Впрочем, будь у Кудри свободное расписание, фи-га с два он бы отправился в ФДК, ну его к лешему, даже если бы я позвал. Чего там не видел? Подрабатывал бы все равно для своей Маришки, пока есть досуг, Кудря был мастер «золотые руки» не поверите в каком ремесле! Шил лоскутные одеяла и коврики. Смешно? Не до смеха. Если бы вы увидели своими глазами его работу. Петров-Водкин и Диего Ривера взятые вместе отдыхают. В плане экспрессии и цветовой гаммы. Бурьяновские хозяйки к Кудре чуть ли не в очереди стояли. Каждой хотелось иметь. Полет над гнездом кукушки, или Пиковую даму. Такая была у Кудри Вешкина

придурь, извиняюсь за выражение. Мировые литературные сокровища он вовсе не постигал, читать ему было не с руки. Но вот голые названия брались Кудрей на вооружение. Чем заковыристей, тем лучше. Фантазия вырывалась на простор. Над фиолетовым птичьим гнездом у него порхала фигура, напоминающая Бэтмена в черном плаще, а пиковая красавица скакала верхом с серебряной алебардой наперевес. И все это, заметьте, из эрзац-атласных, плюшевых, шерстяных бросовых обрезков. Взимал за художественные труды он для здешних жаждущих недешево, а для столиц сущие копейки, зато возился на совесть, если двуспальное одеяло, то и пару месяцев. Занятие свое обозначал не слишком подходящим понятием «хобби», потому что стыдился «бабского» рукоделья. Почетной табельной работой для Кудри оставался наш стационар, а доходной и как бы второстепенной статьей – его подлинный талант, – парадокс, да и только. Впрочем, это вопрос «мужицкой» чести, а не здравого практического ума. Оттого Кудря не рассматривал и в отдалении ужасной мысли покинуть свой санитарный пост ради крепкого, но в своем роде позорного швейного заработка.

Я намекнул ему на Лидку. Остороженько и с обходной хитрецей. Упомянутые танцы пришлось кстати. Кудря, конечно, поворчал немного. Не от досадливой зависти, чему завидовать, я по его меркам был безнадежный бобыль в плане открытия семейных горизонтов, тут скорее сочувствовать надо. Но оттого, как бы чего не вышло. Вдруг ненароком прознает Мао, а что не одобрит, это и без вавилонских мудрецов предсказать можно. Никто сроду в здешние пенаты баб не водил, не существовало прецедента, и оттого Кудря не знал, как следует поступить. Конечно, не водил! Какой кретин, даже самый очумелый, приведет на свидание девушку в режимный «дурдом»? Покажите, дам рупь. Да хоть сто баксов, риска все одно ноль. Я попытался доступно ему объяснить, что это не вполне свидание. Что она сама напросилась. Не на романтическую речку, не на разухабистые танцульки, не в корыстную «Серенаду», по местным понятиям эксклюзивный коммерческий ресторан на полдюжину столиков, не в «Травы луговые» – днем фабричная столовка-общепит, по вечерам полуприличная, умеренных цен кафешка. Но именно в психиатрическую лечебницу № 3,14... в периоде. Поверить было мудрено. Только, что я мог поделаться? За что покупал сам, за то и продавал Кудре.

Сговорились – единственно на мой личный страх и риск. Ничего не видел, ничего не знаю, и знать не желаю, спи глазок, спи другой, а третий бди – Кудря взаправду дорожил своей двусмысленной должностью, будто она создавала вокруг него манящий мистический нимб, вдруг так и было для его Марины? Кто в силах предсказать наперед, отчего занимается любовным пламенем изменчивая женская сущность? Санитарный халат и чугунная ограда, посторонним строго вход запрещен. Не на это ли прельстилась и попавшая успешно в столичную струю Лидка? Очень может быть, не на мою же захудалую в смысле материальных возможностей персону.

Спирту я не добыл, к вящему моему разочарованию. Дядя Слава, будто назло, совместно с просто Ольгой, как в сердцах я назвал докучливую Ольгу Лазаревну, допоздна «ревисовали» истории болезней, какой-то дурацкий учет наверх, обычная бюрократическая повинность, но я остался без возбуждающего нектара. Канючить в присутствии просто Ольги было немисливо. Жалость какая. Из напитков мне перепал лимонад «Буратино» в пластиковой двухлитровой посуде, наполовину уже уничтоженный предшественником Семенychем; хорошо еще, что не была прежде смена «Сапога», равнодушного кадавра – отставного надзирателя колонии для несовершеннолетних, подрабатывавшего у нас к пенсионному аттестату, – не то видал бы я и «Буратино». На крайний случай выпросил у спешащей к своему кузнецу поварищи Марковой какао-порошок. На крайний без преувеличения, в июньской жаровне сами мысли о пылающем суррогате казались тошнотворными. С другой стороны, всегда возможно сослаться на то, что мол, градус не положено, инструкция о распитии запрещает категорически. В самом деле, не экскурсия на останкинский «Седьмое небо», а очень приземленное посещение больных и страждущих с познавательной целью. Уже в том счастье, что на женской поло-

вине второго этажа в дежурные назначалась расписанием Карина Арутюновна, дородная, степенная армянка-беженка, ей единственной дозволялось нести вахту в одиночестве, настолько монументально непрерываемо был ее верховный авторитет среди шатких психикой пациенток. Карину Арутюновну мы с Кудрей не интересовали вдоль и поперек, вдобавок она обладала счастливым умением засыпать по заказу за сестринским пультом-столом, от которого электричество было отведено еще задолго до моего появления в поселке, и так же просыпаться в положенные ей самой часы для планового обхода. Беда, если бы на ее месте оказалась Верочка. Мне чудилось, что отныне куда бы я ни пошел в пределах стационара и его ограды, я обречен наткнуться на ее неуклюжую сострадательную тень. Она и Лидка были несовместимы не то, что в одном моем сознании, но даже в одном помещении, будто бы от природы дышали разным воздухом, и каждая родилась изначально убийственно заразной для соперницы. Но и соперницами они присутствовали лишь в моем будоражащем воображении.

Задолго до одиннадцатого часа ночи я застрял у раскрытого наполовину окна лестничной площадки, между пролетами – вид сверху лучше. Вцепился в поперечный распор решетки, до одеревенения заморозил взгляд, пытаюсь в неярком фонарном свете углядеть робкий силуэт вдалеке у ворот. Впрочем, отчего же робкий? Лидка вполне могла подойти уверенным, смелым шагом и встать напротив «руки в боки», вот я, встречайте! Или как опытный канатоходец парить над землей в нетерпеливых пируэтах туда-сюда. Я знал, что еще рано. Как знал и то, что девушкам привычнее опаздывать, чем следовать вежливости королей. Но я знал также, что минуты надежды вполне могут оказаться моей единственной радостью. И не собирался отказываться от удовольствия, возможно последнего завершающего день. Потому что Лидка могла вообще не прийти. Это я знал тоже. И оттого загодя трепетно и счастливо занял своим ожиданием оконный проем.

Сначала я высмотрел темное, дергающееся пятно. Не помню, было ли уже одиннадцать, часов я не наблюдал. Не только по причине влюбленности. Говоря по правде, их у меня вообще не было. Обходилась. Во флигельке точное время мне сообщало дряхлое радио, настроенное на волну «Маяка», не поверите, живучая «Спидола» советских эпох. А на служебном месте имелись настенные монстры с пудовыми стрелками, Мао содержал их громоздкие величества в неизменном порядке, справедливо полагая, что выгоднее уберечь старое, чем тратиться после на новое. Но идти к ним на поклон мне казалось далеко, от лестничной клетки на первый этаж, я же ни в какую не хотел покидать свой пост, будто Аннушка на башне, в ожидании Синей Бороды.

Я даже не догадался сперва, что это в самом деле Лидка. Ну, пятно, и что? Не знаю, чего я ждал. Кареты Золушки или сияющего льдом экипажа Снежной Королевы. Пропало зря несколько минут. Все же я сообразил. Будто уловленная черепаха на лысину Эсхила, ринулся камнем вниз, зачем-то считая шаги через один, в холле только одумался. А ключи? Палаты, оно конечно. Мы не запираем. Для удобства и для поощрения доверия. Однако, только их. Все прочее подлежит замыканию, словно меч-кладенец. Тем более главная, входная дверь. Там не просто замок, а в три ряда засовы, разве что стулом не подперто. И чтоб наши не шастали, и чтоб к нашим снаружи не просочились, мало ли кто? Лихие люди есть везде, в глубинке их, может, в процентном соотношении меньше, потому как добыча невелика, однако бывали случаи в Бурьяновске, и мы не исключение. Правда, ломиться в стационар выходило предприятием безнадежно гиблым, двери динамитом не возьмешь, и напалмом не сожжешь, а решетки отпугивали одним своим видом, кто знает, что за ними, вдруг палата отчаянно буйных? Но ломились и не однажды, бывало и с требованием немедленной выпивки. Как лезли через малопрístupную ограду, загадка, видно и впрямь, пьяный и жаждущий продолжения геенну огненную вброд перейдет.

Смотался наверх, поймал взгляд Кудри, семафорящий немой уккоризной, виновато пожал плечами. Тоже мне, философ-резонер, или скорее резонерствующий философ! Связка под-

хвачена с лету, ого-го! с полкило, не меньше. Точно то были ключи от осажденного города. Но, в общем похоже. Пока отпирал, пока козлом доскакал до ворот. Думал, убьет, если не физически, то уничижительно словесно. Дескать, пригласили даму, так будьте любезны, соответствуйте. Это ладно, лишь бы дождалась.

Лидка и дождалась. Мало того, дождалась чуть ли не со смирением. Все те минуты, что я отпирал прорезанную сбоку от ворот служебную калитку – заброшенная вахтовая сторожка уставилась на меня осуждающе слепым, черным глазом-оконцем, – Лидка, о-о-о счастье! кивала мне сочувственно. Вот это да! А может, ей попросту до чертиков скучно. И любое развлечение в строку. Все же я молод, статен, язык подвешен неплохо, хотя чаще всего мелет чушь, девушкам не любопытную. Однако на безрыбье и крот гордый сокол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.